Валерий Казаков

Город, который всегда со мной...

Повесть возврата

Минск
Издательский дом «Звязда»
2014

УДК 821.161.1(476)-32
ББК 84(4Беи=Рус)-44
К14

Казаков, В. Н.

К14 Город, который всегда со мной… : повесть возврата / Валерий Казаков. — Минск : Издательский дом «Звязда», 2014. — 224 с.

ISBN 978-985-7083-23-7.

Оказывается, Валерий Казаков — писатель неожиданный и зачастую непредсказуемый. О чем свидетельствует и его новая книга, где вместо привычных для автора персонажей — отпетых чиновников и бюрократов — внезапно попадаешь в доселе неведомый для его произведений глубоко лиричный, тонкий, чувственный мир... Мир его малой родины — Могилевщины.

УДК 821.161.1(476)-32
ББК 84(4Беи=Рус)-44

Литературно-художественное издание

КАЗАКОВ Валерий Николаевич

ГОРОД, КОТОРЫЙ ВСЕГДА СО МНОЙ…

Повесть возврата

Редактор *Т. А. Кухарская* Художник *Я. К. Ващенко*
Компьютерная верстка *Т. Н. Урбанович* Стильредактор *Т. А. Кухарская*

Подписано в печать 04.04.2014. Формат 84×108 1/32. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 8,82. Тираж 800. Заказ

Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/8 от 02.08.2013.
Ул. Б. Хмельницкого, 10а, 220013, г. Минск.

Открытое акционерное общество «Красная звезда»
ЛП 02330/0552716 ад 03.04.2009.
1-й Загородный переулок, 3, 220073, г. Минск.

ISBN 978-985-7083-23-7

Городу Могилеву,
жителям Приднепровского края,
его губернаторам и Тамаре Батуре
посвящается...

Так мы встретились

Если ты родился в деревне, то город редко когда станет для тебя родным. Но мне повезло: внутри одинаково сильно зацепились и моя деревня, вернее станционный поселок Реста, и областной центр, взгромоздившийся на крутом берегу мелеющего летом Днепра.

Мои первые воспоминания о Могилеве связаны с пивом, вернее, вкусом пива, которое мне дал попробовать из большой стеклянной кружки отец. Помню, что удержать этот непривычный сосуд самостоятельно я не мог, и батя, скорее всего боясь, что я разолью вожделенный напиток, присев на корточки, поднес кружку к моему рту. Губы и нос обволокла противная лопающаяся пена, а рот заполнился, как мне показалось, тошнотворной мыльной водой. Я с силой увернулся, выплюнул пиво и заплакал. Отца моя реакция огорчила, зато обрадовала маму. Пиво с тех пор, не взирая на бурную офицерскую молодость, я не пил сорок лет.

Картинок улиц, площадей, каких-то достопримечательностей того, восстанавливаемого пленными немцами города, моя память не сохранила. Наверное, из-за того, что и родители, как всякие сельские люди

от близкого железнодорожного вокзала отходить далеко особенно не решались. Хорошо помню привокзальный рынок, он еще кое-как жив и поныне, тенистые клены уже давно вырубленного привокзального сквера. Особое место в моей памяти, конечно же, занимают стаи безбилетников на крышах вагонов. Когда я их видел, меня охватывал панический страх. Мне казалось, что мама или отец обязательно потеряют билеты и нам придется, отмахиваясь от проводников и свистящих милиционеров, лезть на крышу. Слезы текли в два ручья. Я знал, что с крыши меня обязательно сдует, а страх этот мне внушил дед Никодим, авторитетно объяснивший, грозно потряся узловатым с черной отметиной пальцем, что детей с крыш поездов сдувает как пух с ладони. И тут же поймав гуся, выдернул из него серую перинку и наглядно продемонстрировал и, как это произойдет.

Билеты тогда были — не чета нынешним — плотными, картонными, коричневатого цвета и всегда имевшими определенную цену в детском обиходе. В деревне на них можно было выменять много денных и нужных вещей. Однако по малолетству своего персонального билета мне не было положено. Даже и сейчас помнится, как это было обидно. Но билет мне доставался, как правило, только один — мамин. Отец ездил по своему годовому — как железнодорожник.

А еще на вокзале безногие калеки продавали глиняные свистульки, и самой козырной из них был — соловейка. Все прочие просто дудели и сухо свистели, а соловейка, если в него налить воды, пел. Позже инвалиды куда-то разом пропали, а с ними

и соловейки. Сколько я ни приставал к старшим с вопросами: «Куда подевались веселые дядьки со свистками?», меня как будто не слышали и спешили увести от злосчастного скверика, на месте которого ныне автомобильная стоянка. Только уже весьма взрослым я узнал, что по приказу Хрущева всех покалеченных войной людей в скором темпе пособирали по крупным городам и убрали с глаз долой. Места их скорбных поселений назывались громко: специальные интернаты для инвалидов, размещались они зачастую в бывших монастырях, откуда совсем недавно ушли по домам или на тот свет бывшие враги народа, а иногда и вовсе в бывших лагерных бараках. Так стыдливая Родина и родная Коммунистическая партия сполна отблагодарили своих защитников, которым ни великий Сталин, ни его железные маршалы счета никогда не вели.

Уже в девяностые годы я встретил остатки этого увечного, одичавшего племени на острове Валааме, когда по благословлению святейшего Патриарха Алексия началось возрождение одной из православных святынь — Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Господи, во что был превращен Северный Афон советской властью и согнанными сюда людьми, которых все та же власть обратила в жалкое подобие человеков. Сегодня обитель радениями игумена епископа Панкратия возрождена и голубизной куполов своего главного храма славит Бога и труды людские. Следует сказать, что с воскресением монастыря воскресли и души бывших интернатчиков и их детей — они прилежные прихожане.

Но вернемся к моему родному Могилеву. Конечно же, та старая свистулька у меня не сохранилась, но на какой-то из ярмарок, по-моему, в Новогрудке, я вдруг услышал заливистую, слегка захлебывающуюся трель глиняного птаха, и теперь он всегда со мной. Когда совсем становится муторно на душе от олигархической действительности, я, как шаман бубен, достою своего соловку, заливаю водой или чем покрепче и свищу на удивление жены и на радость дочки. И, вы знаете, здорово помогает.

Драпежная птушка*

Они заблудились и как-то одновременно это поняли. Молчание стало еще сосредоточеннее, предсумеречное стрекотание кузнечиков в высокой по пояс траве зазвучало угрожающе громко.

Трудно сейчас вспомнить, кому из них пришла в голову идея отметить окончание школы походом в таинственное Полесье. Кроме Костуся в этой вылазке участвовали трое его друзей. Никто не мог предположить, что это фактически была их последняя встреча, своеобразный итог долгой, самозабвенной детской дружбы.

Жук бессмысленно погиб в автомобильной катастрофе на Минском шоссе; Паша где-то застрял на одном из сотен небольших заводов; Яшка, помыкавшись в массовиках-затейниках, после Чернобыля собрал семью и уехал в Израиль; Константин, исколесив добрую половину нашей некогда необъятной родины, получив заветные полковничьи погоны, осел в большом российском городе и занялся бизнесом.

Однажды он, счастливый и, как ему казалось, богатый, ехал на своей первой затрапезной «аудюшке»

*Хищная птица (*пер. с белорусского*).

в гости к родителям. Послушав нелогичные доводы жены, полковник Раубич, как говорится, в расцвете творческих сил и служебных перспектив ушел в никуда. Подурковав месяца три, он инстинктивно набрел на интересное дело и постепенно в нем преуспел. И вот с забитым до отказа багажником он спешил впервые исполнить приятную роль всесезонного Деда Мороза.

С годами Костю все чаще тянуло домой, и стоило машине пересечь выдуманную Ельциным с Шушкевичем границу, как сердце почему-то начинало колотиться сильнее, а ничем не отличающиеся от подмосковных пейзажи казались особенно милыми и до слез тревожили душу. Память сама собой начинала вязать причудливые образы и картины прошлого, внимание рассеивалось, управлять автомобилем становилось опасно. В таких случаях Константин выбирал боковую лесную дорогу поуютнее и направлял свою иномарку на выползающие из-под земли толстые корни диких лесных деревьев. Побултыхавшись минут двадцать на ухабах, он глушил мотор, садился на мягкий, колючий от иглиц мох, прислонившись к шершавой, пахнущей смолой сосне, давал волю памяти и впадал в зыбкую дрему. В этом тонком, чувственном, как говорят монахи, полусне-полуяви часто всплывало это уже давно забытое приключение.

…Они заблудились. Невесть кем протоптанная тропинка полого поднималась по краю небольшой лесной поляны, тянущейся от самого болота и упирающейся в мрачный отвесный утес. Метрах в двухстах от утеса тропа делала небольшую дугу и, попетляв меж деревьями у самого карая обрыва, взбиралась на почти ров-

ную террасу. Здесь и решили разбить лагерь. Утесом оказался неимоверных размеров валун, повернутый к обрыву идеально плоской, поросшей серым мхом поверхностью. Кто хоть однажды долгое время таскал на себе тяжеленный рюкзак, тому известно ощущение необыкновенной легкости, которое испытывает путник, сбросив с себя надоевшую тяжесть. В такие минуты кажется: еще мгновенье — и ты взлетишь.

Быстро разбили просторную оранжевую палатку, развели костер, и через каких-то полчаса в тягучем вечернем воздухе поплыли вкусные запахи дозревающего ужина. Темнело по-летнему медленно, однако сумерки, усиленные лесом и ярким пламенем костра, быстро сгустились до ночной черноты. Обжигаясь вкуснейшим варевом, окрещенным Яшкой, самым лучшим кашеваром всех времен и народов, «змеиным супчиком», друзья обменивались дневными впечатлениями.

А день не задался с утра. Сначала в чахлом подлеске потеряли отлучившегося по нужде Жука. Минут сорок аукались и, только сделав приличный круг, столкнулись друг с другом у места их ночевки. Солнце в утренней дымке казалось подслеповатым, над землей, уворачиваясь от его лучей, танцевал белесым призраком полупрозрачный туман. Лесная, едва заметная дорога мягко стлалась среди мрачных замшелых елей, но к обеду и она, захлюпав под ногами грязью, пропала в острой болотной траве. Заболоченный лес вдруг кончился, и перед ними, насколько хватало взгляда, простерся тоскливый даже в солнечный день извечный полесский пейзаж — болото…

Как они из него выбрались, известно только Паше, который, казалось, на одной интуиции вывел их из

этого зыбкого месива. Все без исключения по несколько раз проваливались в трясину, каждый что-то потерял в жидкой вонючей грязи и испытал на себе страх разверзающейся под ним бездны. Выйдя, наконец, на сухое место, они, как умели, поблагодарили Бога и в изнеможении рухнули на твердую, не дрожащую под ногами почву. Отдышавшись, немного придя в себя, друзья кое-как ополоснулись, постирали в бурой затхлой воде заскорузлую от грязи одежду и, обсохнув, уже под вечер пошли по едва заметной тропе, что и вывела их к странному камню, у которого сейчас с сипением трещал в костре валежник.

— Да, покрутил нас сегодня леший, — облизывая ложку, тихо прогудел Паша. — Хотя мне сдается, чертовщина эта еще не кончилась.

— Ты бы сплевывал, — перебил его Жук, — лучше чайник сними, провидец ты наш.

Паша обиженно засопел, надо отдать должное, из всех присутствующих он, пожалуй, был наиболее рассудительным и менее других склонным к мистике. Протягивая фыркающий носиком чайник, не повышая голоса, продолжил:

— Пока ты, как неопознанное земноводное, выбравшись из болота, дрых на солнышке, я посмотрел карту, и что ты, умник, думаешь, я увидел?

— О, великий Паша,— продолжал Жук, — откуда мне, темному, забитому декханину, знать сию тайну!

— Да погоди ты зубоскалить, — вмешался в разговор Костусь, — так что было на карте?

— А ничего там, братья белорусы, не было.

— В каком смысле не было?

— В прямом. Нет на карте этого острова.

— Хватит на ночь страхи рассказывать, о, великий и ужасный, — не унимался Жук.

— С чего ты взял, что мы на острове? — наливая в кружку чай, удивился Костусь, — мы же вроде вышли к берегу, и справа и слева от этой горки были видны деревья.

— Да я и сам поначалу так думал, а когда сориентировал карту по компасу, загрустил. Нам казалось, что движемся мы на северо-восток к правому краю Греблянского болота, а забрались, оказывается, в его середину.

— Как?! — почти одновременно вскрикнули все трое.

— Как, как? Не знаю, как. Только вот выходит, что мы почти в центре одной из самых больших болотин Европы. Острова, да еще с возвышенностью, здесь просто быть не может по определению. Смотрите сами, — Сергей, так звали Пашу, вытащил из старой офицерской сумки и расстелил поближе к огню немецкую, времен минувшей войны, карту.

— Мы примерно где-то вот здесь, — ткнул он сучком в середину серо-зеленоватой с голубой рябью проплешины, впереди, по идее, километров через пять болото должно плавно перейти в Черное озеро, которое само, кстати, окружено со всех сторон гиблой трясиной и только узкой протокой чистой воды соединено с каскадом Тростянских озер. Вот на Черном обозначены два небольших острова, но, судя по отметкам, они низкие. Теперь смотрите сюда. — Паша достал компас…

Вдруг внизу со стороны обрыва раздался громкий утробный рокот, задрожала земля…

— Смотрите на компас, — зашептал молчавший до этого Яшка.

С компасом, действительно, творилась какая-то чертовщина. Стрелка, забыв про все законы физики магнитного поля, крутилась по кругу. Потом, мелко задрожав, заметалась из стороны в сторону и, наконец, лениво покачиваясь, заняла определенное ей природой место. Вместе со стрелкой затих и испугавший их звук.

— Ну что я вам говорил, — не без гордости пробасил Паша. — Вот и продолжение чертовщины. Еще днем на болоте пару раз замечал, что с компасом фигня творится, но особого внимания не придал, подумал — показалось.

— Погодите, мужики, — наверное, последним оправившись от испуга, громко заговорил Костусь, — а что же это было? Надо сходить посмотреть, иначе ночью точно со страха охренеем.

— Не знаю, что это было, но, судя по пляске компаса, вещь серьезная, — рассудительно начал Жук, который школу, как особо одаренный, окончил на год раньше и уже учился в химтехе. — Скорее всего какая-то локальная аномалия, а может, НЛО где-то поблизости приземлился.

— Час от часу не легче, вы как сговорились,— решительно встал Костя, которого друзья звали Домовой. — Берите фонари, пошли смотреть.

Исправных фонарей после купания в болоте осталось всего два, правда, один из них мощный, аккумуляторный, неизвестно где позаимствованный Яшкой. Для верности скрутили еще факел и двинулись в по-

темки. Уже через три минуты неторопливой ходьбы они были на месте. Перед ними клубилась туманом и дышала подвальным холодом огромная коническая воронка метров десяти глубиной. Ее рваные осыпающиеся края повторяли рельеф местности.

— Похоже на кратер, — сказал Жук.

Внизу что-то опять глухо заурчало, заворочалось.

— Смотрите осторожней, — строго предупредил Паша, — этот кашалот опять задышал. Завтра утром разберемся, главное, убедились в материальности этого дурацкого воя.

— Пацаны, уникальное явление для наших мест, — возбужденно зачастил Жук, — это, по всей видимости, большой грязевой гейзер.

— Откуда ему здесь взяться? — искренне возмутился Яшка. — У нас что, Камчатка?

— Для тектонической деятельности земли, — оседлав своего конька, начал Жук, — всякие географические зоны доступны. Я не исключаю…

— Ты не исключай, ты выключай фонарь и свой говорильник, — отыгрываясь за подколки, повеселевшим голосом перебил его Паша. Хватит трёпа, пошли спать, белорусы.

Костер уже дотлевал. Ночь поделили на всех поровну. Первым выпало дежурить Яшке, который отзывался на прозвище Млоть.

Проснулись они одновременно от какого-то внутреннего толчка и, не сговариваясь, бросились вон из палатки. Еще только начало светать, лес был покрыт зябкой утренней дымкой. В стороне болота стояла густая белая стена тумана. Что-то огромное, тяжелое

сорвалось с вершины подпиравшего палатку валуна, расплющив их недавнее убежище, прокатилось мимо мирно спавшего Млотя, хрустя, как спичками, хилыми тонкими сосенками и кустами, ломанулось к обрыву и, у самой бездны натолкнувшись на корягу, подскочило и сгинуло. Большущий, наверное, с метр в диаметре камень по чьей-то милости оставил им жизнь.

Все произошло настолько быстро, что никто толком и испугаться не успел, но через минуту страх нагнал их. Кровь бросилась в голову, в висках застучало, не подходя к палатке, они тупо смотрели вверх. На самой вершине валуна зияла огромная чашеподобная выщерблина с почти идеально ровными краями. И вдруг в нее хлынули ослепительно яркие лучи восходящего солнца. Казалось, кто-то всесильный и вечный щедрой рукой наливает в огромный бокал золотистую небесную влагу. Достигнув краев, она нескончаемым потоком хлынула вниз. Испуг сменился чувством неописуемой радости, хотелось сорвать с себя одежду и голяком плескаться в этих живительных, волшебных струях. Первым преодолел оцепенение и обрел голос Жук:

— Банка! — с диким воплем он бросился к останкам некогда надежной и прочной немецкой палатки. В стороны полетели спальники, свитера, останки изуродованного алюминиевого каркаса, еще что-то, наконец, пятясь задом, из-под брезента выполз сияющий Жук. На вытянутых руках он торжественно держал круглую медицинскую банку темно-зеленого стекла с широкой пробкой. — Вот, цела и невредима, а Яшкин блатной фонарь всмятку. — Он, опасливо косясь на-

верх, с почти суеверным обожанием поставил банку на землю. Все, хватаясь за животы, покатились со смеху. — Вы чего, дураки, зубы скалите, я ведь при разливе все учту.

От криков и громкого хохота проснулся Яшка:

— Вы чего орете?

— Млотям спать не даете, — с издевкой перебил его Паша. — Что, продрых ночку? Костер погубил? Племя без тепла и горячих щей оставил? Нападение неведомых сил на великих вождей не предотвратил? Что с ним, о белорусы, сотворим?

— В кратер его, к чудищу, — на всякий случай прижав к груди заветную банку, включился в перепалку Жук.

— Нет, друзья, какой к черту кратер! Он не достоин легкой смерти! — воздел руки к солнцу Домовой. — Нет и еще раз нет. Пусть чинит порушенный вигвам, весь день кашеварит, а когда дневное светило уйдет на покой, а почтенные вожди взойдут на священную гору совета, — он театральным жестом указал на выщербленную верхушку валуна, — то пусть сей сонолюб одиноко ляжет на место нашего нынешнего ночлега. Да помогут ему небесные силы.

— Ставлю на голосование, — подвел итог Паша, — кто «за»? Ты видишь, заспанный Млоть, все единодушны!

— О, бедная моя еврейская головушка, — еще ничего не понимая, удивленно озираясь по сторонам, Яшка сходу включился в их старую словесную игру, — и говорила мне-таки покойная бабушка Циля… Не, погодите, — не выдержав этого напускного веселья,

взмолился Млоть, — мне кто-нибудь без балды может объяснить, что произошло с палаткой, почему вы все в трусах?

Часа полтора ушло на рассказы, пересуды, обсуждение сложившейся ситуации, ревизию оставшегося в наличии имущества. Из заветной банки было немножко отлито, разбавлено и принято внутрь за счастливый исход ночи. Палатка, кстати, пострадала не очень. Млоть, исполняя решения совета и по-настоящему мучаясь угрызениями совести, быстро справился по портняжной части. Материальных потерь, кроме Яшкиного фонаря и впечатанных в мягкую лесную землю брикетов спрессованного киселя и гречневой каши, не было. Сходили еще раз к обрыву, при дневном свете посмотрели на ворочающиеся в здоровенной яме массы песка и камней. Увиденное не успокаивало, а, наоборот, усиливало тревогу.

— Братья белорусы, а давайте признаемся сейчас друг другу, кто о чем думает, только честно, — вроде бы между прочим сказал Паша, когда они возвращались к лагерю.

— Я про валун, — ответил Костусь, — надо бы на него слазить, а страшно.

— И я только что про это подумал, — как бы нехотя отозвался Жук.

— И я тоже, — признался Млоть.

— И у меня в голове творится то же самое, так что, хочется того кому-то или нет, а на камень этот мы полезем…

— Мужики, смотрите, что это за фигня?! — вскрикнул, показывая на валун, Яшка.

— ?

— Да вы что, слепые? Вон, смотрите, на этой каменюке что-то нарисовано.

Только внимательно присмотревшись, друзья разглядели то, что увидел глазастый Млоть. На плоской стороне валуна отчетливо проступали контуры круга с равносторонним крестом внутри.

— Нифигашеньки себе значочек, — присвистнул Домовой.

— А что он обозначает? — обернулся к нему Паша.

— Это древний знак солнца, им наши предки обозначали Перуна — одного из главных языческих божеств славянского пантеона…

— Не только главных, — дополнил Жук, — но и кровавых.

— В смысле? — спросил Паша.

— Насчет смысла я сомневаюсь, — продолжал Жук, — а народу, чтобы его задобрить, извели, судя по летописям, видимо-невидимо.

Собирались быстро и молча, боязливо косясь на щербатую верхушку валуна. Отойдя метров на сорок от места стоянки, они увидели чистый негромкий лесной ручей, который, бормоча что-то свое, спускался с поросшего вереском и папоротником пригорка, утыканного большими замшелыми камнями. Камни эти по своей породе, как определил Жук, были родственны исполинскому валуну и, скорее всего, являлись немыми свидетелями отступления древнего ледника. Друзья стали осторожно подниматься вверх вдоль ручья. Скоро они оказались на довольно просторной поляне, спускающейся к озеру. Ближе к камню рос и большу-

щий дуб с двойной кроной, окаймленный останками некогда еще более огромного дерева в десяток обхватов, из-под причудливых корней бил мощный родник, заботливо обложенный камнями. Вода, прежде чем скатиться в ручей, пробегала несколько метров по руслу и наполняла просторную каменную ванну, на краю которой стоял невысокий, метра в полтора, каменный истукан.

— Ребята, так это настоящее языческое капище, — с восхищением выпалил Константин, осматривая древнее изваяние. — Но это не Перун, скорее всего — Святовит или Род. По идее, у него должна быть шапка.

— Ага, голый и в шапке, — съязвил Яшка. — Вот уж никогда не подозревал, что в нашей честной компании затесался язычник.

— Не знаю, я парень сельский, — обходя купель, как он ее про себя окрестил, продолжал Костусь, — у нас в деревне во многое верили, но такого я никогда не видел, даже не думал, что это может сохраниться до нашего времени…

— Домовой, смотри, — перебил его Паша, — может, это и есть шапка. — Он ногой пытался вывернуть из песчаного грунта какой-то камень.

Шапка нашлась позже и, очищенная от грязи, вымытая в ручье, была водружена на место. Константин положил к подножью идола две завалявшиеся в кармане конфеты.

Над поляной низко кружил большой ястреб.

Остаток дня ушел на обследование окрестностей. Неутешительные прогнозы Паши полностью подтвердились: они оказались на острове, со всех сторон окру-

женном топью и водой. Стоило солнышку хотя бы на минуту спрятаться за тучку, как несметные полчища комаров моментально облепляли лица и руки. Тоскливую картину дополнял густой туман, который рассеялся только к полудню. На озере километрах в двух-трех виднелся небольшой островок. Плавсредств, кроме трех надувных матрасов, у них не было, после долгих дебатов было принято решение рубить и вязать плот.

Палатку переставили подальше от гиблой стенки. Ночь прошла спокойно. Костусю выпало дежурить в самые трудные предутренние часы. Рассвет выдался пасмурным. От нечего делать он взял порожнее ведро и поднялся на святилище, решив набрать воды не из ручья, а из каменной ванны. Его еще вчера днем поразила какая-то странная ухоженность этого места. Легкий туман клубился над идолом и священным дубом, придавая этому древнему месту еще большую таинственность. Конфет около истукана не было. «Наверное, какие-то зверюшки утащили», — подумал Домовой, выкладывая перед идолом кусок хлеба. — «Ну вот, пусть предки не оставят нас в беде». Зачерпнув ведром воды, он повернулся к спуску и остолбенел. Прямо пред ним метрах в двух стояла красивая высокая девушка с пепельно-льняными длинными волосами, схваченными неширокой вышитой лентой. Правильные черты лица венчали огромные пронзительно-василькового цвета глаза. Одета незнакомка была странно, такие расшитые национальным орнаментом блузы и юбки из домотканого тонкого льняного полотна можно было увидеть разве что в музее или бабушкиных сундуках. Девушка спокойно и ласково

смотрела ему в лицо. Вдруг она заговорила, голос был тихим, почти беззвучным, тягучим и сладким, как густой июльский мед.

— Ну, чего же ты оробел, не бойся, я тебя не съем, — говорила она, обнажая ровные белоснежные зубы.

Костуся начал бить нервный озноб. Мысли путались в голове, язык прилипал к пересохшему нёбу. Он сделал два неуверенных шага к девушке, беспомощно опустил ведро и покорно принял протянутую ему руку. Полеся — таким странным именем назвала себя незнакомка, все время что-то говорила. Ее жаркий шепот заставлял молодое сердце выскакивать из груди. Мир, опутанный теплым утренним туманом, качался из стороны в сторону. Впервые в жизни Костусь ощущал каждой своей клеточкой исходящий от этой девушки неподвластный разуму зов жизни. Казалось, что все в природе замерло и ждет от них каких-то очень важных и нужных действий. Его переполняло желание полной самоотдачи.

Все дальнейшее он помнил смутно, казалось, что это происходило не с ним, а с кем-то другим, очень похожим на него. Крещеная часть его души, не желая принимать участия в поганых игрищах, отделилась от грешного тела и, покинув вторую, языческую половину, с легким осуждением наблюдала за ними сверху. Полеся говорила на древнебелорусском языке, вечном и прекрасном, как эти болота и камни. Протяжные, глухие, певучие, слегка гортанные звуки были понятны Костусю и наполняли его какой-то особой, идущей из глубины веков силой. Полеся бессовестно и застенчиво вела его за собой вниз, к озеру. Туман, косматый и вечный, как библейская борода Моисея, стоял над

водой. Из этой живой, почти мистической субстанции, готовой растворить в себе любой предмет, торчал, покачиваясь на легкой волне, нос выбеленного солнцем и временем челна.

— Оставь здесь все железное, в жизни его нет, и нам оно не понадобится.

Костусь сбросил с себя брезентовый жилет с десятком карманов, набитых всевозможным походным добром, большой охотничий нож на широком офицерском ремне, часы, какую-то мелочь, зажигалку и подкованные немецкие военные ботинки.

— Мы уплывем сейчас с тобой в туман, ты ведь этого хочешь, правда? — спросила девушка.

Он закатал брюки, шагнул в теплую утреннюю воду, придержал лодку и, когда Полеся в нее забралась, сильно оттолкнувшись, прыгнул следом. Туман расступился, и привычный материальный мир остался где-то там, далеко позади. Челн, покачивая высокими бортами, с шипением скользил по невидимой воде. А может, это тихое, с легкими всплесками шипение рождала вовсе не вода, а само время, которое в белесом мареве жило по своим, непонятным для людей законам. Туман оборвался вдруг, как будто распахнулся диковинный занавес. Лодка зашуршала по песку и замерла. «Наверное, это тот остров, что мы видели вчера днем, — подумал Костусь, оглядываясь вокруг. — Все-таки я сволочь, даже записки не оставил ребятам. Представляю, что они подумают, обнаружив на берегу мои шмотки».

— Иди ко мне…

Ее голос, как вспышка света, яркая и манящая, стер все его мысли и сомнения. Полеся стояла у боль-

шого ивового куста, одежда, как пена, из которой она выплыла, лежала беспомощно у ее ног. Вырывая с мясом пуговицы, путаясь в штанинах, он рванулся навстречу распахнутым объятиям. Туман, остров, весь белый свет закружился и, свернувшись в улитку, погас в глухом бездонном стоне.

Отдышавшись и восстановив способность хоть как-то воспринимать внешний мир, они, не отпуская друг друга, долго плескались в чистой, слегка зеленоватой озерной воде.

— Кто ты? — каким-то чужим, не своим голосом спросил Костусь.

— Твоя любовь.

— Откуда ты?

— Как и все люди — с неба. Я пришла, чтобы ты продлил меня в веках. Долгие, долгие годы я ждала тебя, мой любимый. Я горькой слезой омывала короткие летние ночи, я белою вьюгой белила янтарные девичьи косы, в дождливую осень листком высыхала дубовым, весной расцветала с надеждой о будущем хлебе. Я былью земною была и небылью звездной, в мечтах мы встречались с тобой, мой любимый...

Над ними сквозь неизвестно каким чудом образовавшуюся в тумане прогалину светило радостное языческое солнце. Выбравшись из воды, они снова упали на песок. Космос двух противоположных и взаимодополняющих начал, причудливо переплетая тела, сильнее впрессовывал их друг в друга. Никакие человеческие слова не помогут описать эту вечную тайну, разве только музыка и стихи в состоянии воскресить в наших несовершенных душах малую толику этих чувств.

Время перестало существовать, солнце как будто застыло на одном месте, гасло оно или нет, Константин не помнил. Полеся тихо заплакала:

— Вот и все, я продлена, моя жизнь уже бьется в веках, а твоя качается у меня под сердцем.

Костя, ничего не понимая, медленно гладил ее пахнущие летним бором, солнцем и озером нежные волосы, целовал соленые от слез глаза.

— Через час ты уплывешь к своим друзьям, и твой бездушный, несущий погибель всему живому железный мир разлучит нас. Пройдут отмеренные Праматерью священные девять месяцев, и солнце увидит новую жизнь. Это будет девочка с твоими серо-синими глазами, когда ей исполнится семнадцать лет, она каждый год в июле станет появляться на этом спрятанном болотом острове, приводить в порядок древнее святилище и долгие годы ждать того, кто, презрев свою ученость и гордыню, подаст изваянию творца мира хотя бы кусок черствого хлеба. Я растворюсь в вечной жизни, когда тебе исполнится сорок три года, но когда бы ты ни вернулся после долгих скитаний на свою родную землю, я буду всегда встречать тебя небесной драпежной птушкой, мой любимый.

Челн скользил в белом безмолвии. Спрыгнув на берег, Костусь очнулся у древнего святилища. Перед ним лежали его вещи, оставленные внизу у озера. Все мышцы приятно ныли от перенапряжения, из неловко поставленного им на камни ведра еще не успела вылиться вся вода. Хлеба у подножья идола не было. Набрав еще раз воды, он спустился к палатке.

У костра, раздувая подернутые сединой угли, сидел Паша. После завтрака на берегу озера они

нашли большую, выбеленную временем и солнцем лодку с веслами. Все так обрадовались, что никто не заметил на озерном песке неглубокие следы босых девичьих ног.

Костусь вздрогнул и вернулся к реальности. Прямо на него смотрела пронзительно-голубыми глазами большая хищная птица.

— По-ле-ся! — вырвался из горла не то стон, не то крик.

Птица, как ему показалась, виновато вздохнула и, взмахнув могучими крыльями, улетела в свое вечное языческое небо.

Второй крест апостола Андрея

1

Темнело в здешних местах медленно. Как уроженец юга он никак не мог к этому привыкнуть. Порой казалось, что ночь никогда не наступит, а эта сумеречность, обращающая реальность в призраки, неожиданно прервется рассветом, так и не выпустив на небосвод луну со звездами. Он любил низкие звезды пустыни и гор, это клубящееся в бесконечности мерцание, которое своей тяжестью прогибало бархат небесного мрака почти до самой земли. Прохладный и звенящий чистотой воздух ночной Галилеи — как его не хватает ему в этом обволакивающем весь мир тумане! Странные и таинственные земли лежали вокруг, неведомые и дикие, населенные разноязыкими и враждующими между собой народами. Только широкая, величавая, норовистая река неспешно катила свои воды в соленое море, связывая воедино пестрый разноязыкий мир побережных обитателей. От моря они и плыли.

Вездесущие греки помогли ему и трем его ученикам устроиться пассажирами на большую ладью в купеческом караване, отправляющемся на далекий север в же-

стокие и таинственные варяги. Плавание было трудным и опасным. Шли против течения, а оно местами бывало таким стремительным, что чуть оплошай кормчий и тяжело груженное судно уже завертелось волчком, словно щепка, и полетело на предательские пороги или прибрежные камни, и только сила гребцов могла в этом случае спасти от неминуемой гибели. Андрей в такие минуты падал на колени и молился Спасителю, молился, истово, забывая все на свете. Он, как никто иной, знал, что только такая молитва дойдет до сердца Того, с которым он шел вместе, смерть и воскресение которого видел. Это Он научил его так молиться, и, может от этого по словам воздавалось просящему. Ни гребцы, ни стражники, ни надменные купцы никогда не мешали Андрею говорить со своим Господином. А после Диких Порогов, которые преодолевали только волоком, и вовсе зауважали — даже те немногое из солдат, кто не преминал его задеть, позубоскалить, примолкли и смотрели с удивлением на странного иудея, пытающего всякому встречному рассказать про своего Бога. На Порогах случилось чудо, свидетелями которого были многие.

Тяжеленную ладью волами и всем наличным экипажем вытащили на берег, встащили на большущий помост, расклинили, расперли и укрепили канатами. Судно стояло высоко и гордо, упершись в помост веслами, смущая степную окрестность своей водоплавающей неестественностью. Хозяин вместе с кормчим лично проверили все крепи и только после этого велели освободить толстые бревна, подведенные под настил. Сооружение дрогнуло и, слегка покачиваясь, поползло по широкой песчаной дороге в обход страшных, ревущих водою камней, почти перегораживающих Борис-

фен. Тащили и толкали эту громадину все: и местные погонщики быков, и наемники, и гребцы, и пассажиры. Двигались медленно, не останавливаясь, все время перемещая освободившиеся бревна вперед. Уже была видна небольшая заводь, к которой и тащили ладью, еще немножко усилий — и ее крепкий изогнутый кверху нос — весело вспорет блестящую на солнце воду притихшей реки.

Несколько молодых людей шли сзади волока и внимательно слушали Андрея, свидетельствующего о том, как Спаситель накормил пятью хлебами пять тысяч человек.

— Байки все это, — скептически хмыкнул пожилой наемник из римлян, поправляя веревочные лямки своего кожаного панциря, укрепленного узкими бронзовыми бляшками. — Я за свой век столько слышал россказней о разных чудесах, что и со счета сбился, а вот видеть чуда ни разу не видел, потому как не бывает никаких чудес! Побасенки все это, а вам иудеям только пустое молоть да доверчивым дурочкам головы морочить! — презрительно сплюнув, он пошел вперед.

— Солнечный человек! — позвал его рассказчик, — не спеши, дослушай до конца и ты поверишь! Ибо говорящий о Спасителе не может врать.

— Дуболом, что ли, солнечный человек? — заржал проходивший мимо начальник стражи. — Да он же садист и убийца. В Македонии бросил дом, жену и двоих детей только ради того, чтобы волочиться по белу свету и убивать. Правда, Серпий?

— Истина твоя, командир! — оскалился, обернувшись, наемник. — Если и есть какой бог, то это Марс,

а ты, лжец, плетешь про распятого еврея, да разве бог даст себя распять?

— Ты ошибаешься, солнечный человек! Тогда в Иерусалиме распяли Христа за всех нас, за все человечество и в милости к нам, недостойным, Он не пожалел ни себя, ни Сына своего. Бог это добро и радость...

— Да какое же добро, если он Сына своего отдал на распятие? Жестокий у тебя Бог, иудей, выходит...

— Берегись! Берегись! Зашибет!

Громкие крики прервали их спор. Платформа с ладьей переваливала через небольшой пригорок, волов уже выпрягли, у бортов стояли люди, готовые выбить крепления, длинные веревки справа и слева были вынесены далеко вперед, натянуты, и добрая половина команды, ухватившись за них, изготовилась по команде капитана сдернуть свой корабль с настила в воду. Все так спешили закончить тяжелый и опасный труд, что, по всей видимости, бросили без присмотра высвобождающиеся бревна. Два из них выскочили из под настила, подскочили и покатились, набирая скорость, на идущих по дороге людей. Убегать было поздно да особо и некуда. Дорога в этом месте прорезала небольшой известняковый холм, полого подымаясь вверх, по вырубленному в белом камне коридору.

Людей охватила паника, все бросились назад, но путь им преграждали волы следующего волока. Только Андрей не испугался, он спокойно встал на колени и, казалось, собрался смиренно принять смерть.

— Господи! Не ради жизни моей, а ради славы имени Твоего пощади нас грешных! — прошептал апостол.

Случилось невероятное: неведомая сила развернула летящие на людей бревна, перед одинокой фигурой ко-

ленопреклоненного они стукнулись друг о друга и скатились на обочины.

В тот вечер восемнадцать человек под пьяные песни гребцов и наемников окрестил он именем Учителя в днепровской воде.

2

Чем выше поднимались они к северу, тем гуще становились туманы, тем жестче были нравы и обычаи встречавшихся им племен. В одном месте, где ему особенно понравились высокие берега, он всю ночь молился, а утром с учениками воздвиг крест — как символ, как залог того, что здесь, на этих диких горах, когда-то воссияет великий град, со множеством Христовых храмов. Но не успели они и землю как следует утоптать у святого знака, нагрянули лихие люди, избили всех, ограбили, еле живыми добрались до ладьи. Крест с собой принесли, не оставлять же его на поругание. Ему хотелось остаться здесь, пожить, смягчить жестокосердие местных жителей, открыть им Истину. Да корабли долго стоять не могли, надо было спешить, спешить туда, где снега не таяли круглый год. Андрей вспомнил, как он первый раз увидел в Скифии снег. Было так холодно, что он подумал: не настал ли конец света, о котором так много говорил ему Спаситель. Но ничего, со временем привык, даже умывался этим холодным пухом, как местные кочевники.

И вон впереди еще одна круча вздыбилась над рекой. Ее он заметил издалека. Солнце только спряталось за вершины огромных сосен, и капитан начал искать подходящее место для ночевки. Их ладья шла сегодня первой, как бы авангардным отрядом, остальные чуть

позади, на радость апостола пристали как раз под приглянувшейся ему горой. Последний корабль каравана зашуршал носом по прибрежному песку уже в темноте и почти одновременно с этим мир накрыл и туман.

Разговор у костра не сладился, все за день умаялись, попутного ветра не было, так что пришлось грести. Спалось Андрею плохо. Рассвет скорее почувствовал, чем увидел. Он осторожно, чтобы не разбудить товарищей, выбрался из-под покрывала и пошел к воде. Силуэты лодок, словно головы исполинских рыбин с высокими надменными носами, высовывались из тумана. Казалось, еще немножко и они, извиваясь своими длинными телами, бросятся на спящих людей, пожрут их, как кит Иону, и уплывут в свои мрачные глубины.

Ополоснув лицо теплой водой, пахнущей рыбой и какими-то пряными водорослями, Андрей потянулся, покрутил головой, руками разминая затекшее от неудобного лежания на прибрежном песке тело, отряхнул свое платье. Утренний запах реки всегда вызывал в нем далекие воспоминания, которые при всей изменчивости судьбы продолжали жить в его памяти. Море никогда так не пахло, а этот речной дух возвращал его в далекую юность, где они с братом Симоном промышляли рыбной ловлей, и их небольшой домик на берегу Геннисаретского озера был полон этих запахов. Дышалось легко, туман к утру спал и, несмотря на то что солнце только встало, уже плясал легкой дымкой на речной гладью, даже быстрое течение не нарушало своим присутствием этой зеркальной поверхности, разве что где-то в отдаление плеснется большая рыбина, и побегут слегка вытянутые по течению круги, и вновь безмерный покой. Трудно сказать, скучал ли он по дому, по родному

Вифсаиду, где почти все говорили по-гречески, может, отсюда и его непривычное для Галилеянина имя. Где сейчас брат Симон, ставший опять-таки на греческий манер Петром? Он последнее время пугался таких непрошеных вопросов, да и вообще не очень любил неожиданные набеги воспоминаний. Когда же они ему особенно докучали, апостол прогонял их другими картинками их своего прошлого. И сейчас, чтобы избежать дальнейшей игры памяти, он представил себя стоящим рядом с Иоанном, которого позже назовут Богословом, на берегу Иордана. Они внимательно слушали своего первого учителя, а неистовый Иоанн Креститель, страшноватый и нелюдимый в звериных шкурах, вдруг просиял и, указывая им на худого, спокойного человека, произнес: «Вот — Агнец Божий». И они поняли тогда, что это Господь, и последовали за ним.

Путем Спасителя он продолжал идти и сегодня. Что это за путь и куда он его приведет, праведник старался не думать, как и бежал от многих других сторонних мыслей, могущих отвратить его от этого неведомого и неизбежного пути, предначертанного ему самим Спасителем. Глянув еще раз на речные красоты, поглубже вдохнув, взбудораживший его воздух, апостол не спеша пошел к еле заметной тропинке, начинавшейся здесь, на речной отмели, и скрывавшейся в густых зарослях кустарника, корапкающегося по крутому склону высокого берега.

«Хорошая круча, крест, наверное, будет с нее виден далеко! Река здесь делает поворот, и горы эти выступают вперед, — по-детски радостно думал святой, — надо, пока все спят, подняться и посмотреть, что да как. А уже потом с учениками и крест поднимем...»

— Эй, странник! Не ходил бы ты никуда один! — прервал его мысли окрик одного из солдат, охраняв-

ших лагерь и ловко притаившегося за густым ивовым кустом.

— Ты что-то у меня спросил, солнечный человек? — подслеповато сощурился Андрей.

— Да оставь ты его, это же блаженный с рыжей галеры, говорят, он не только слегка тронутый, но еще и прикидывается жрецом какого-то нового Бога, — выглядывая из-за спины товарища, произнес второй наемник, срезая острым ножом тоненький ломтик вяленого мяса. — Его без толку куда-то не пускать, все равно не послушает, а если ты его зацепишь, то придется битых часов пять слушать про его Бога, если тебе нужна эта нуда, сходи как-нибудь вечером к их костру, а меня уволь, я как-то послушал. Иди, иди себе с миром, только потом не упрекай нас, что тебя не предупредили, — отправляя в рот мясо, махнул в сторону тропы охранник. — Там, наверху, копошатся какие-то троглодиты, смотри, чтобы не сожрали. Они всю ночь здесь по кустам шарились.

— Спасибо, солнечный человек, за предупреждение. На все воля Господина моего! — ответил обрадованно Первозванный, и высокая фигура в странных длинополых одеждах скрылась за поворотом тропинки.

Подъем был долгим и трудным. Тропа порой вовсе куда-то пропадала из-под ног, приходилось, цепляясь ветхой одеждой за острые сухие сучки, продираться сквозь густые, переплетенные друг с другом ветки кустарника. Андрею показалось, что он заблудился, сомнения и укоры предательски полезли в голову: может, действительно не надо было идти сюда в одиночку? Что решат эти полтора-два часа? Дождался бы, пока проснутся ученики, взяли бы топоры, заступы, сам крест и

решили бы все одним махом! С досадой вырывая клок рукава, зацепившегося за какую-то крюковину, он замер от неожиданности. Совсем недалеко наверху кто-то играл на свирели. Усталость как рукой сняло, и он, не разбирая дороги, не обращая внимания на сучья, поспешил в сторону этого чудного звука. Вскорости вышел на неширокую, хорошо наторенную дорогу, петлявшую кустами влево вниз и спускающуюся к реке где-то чуть дальше места их ночевки. Другой конец этого пути полого слался вверх. Пройдя еще какую-то сотню стадий по уже открытому косогору, Андрей вышел на край речного обрыва и замер от неожиданности.

На большой опушке векового леса, стеной вздымавшегося по ее краям, стояли какие-то неказистые сооружения, у огромного одинокого дуба за невысокой круглой загородкой горел небольшой костер, слева от частокола на камне сидела спиной к нему молодая девушка и играла на небольшой пастушьей дудке, играла жалобно и самозабвенно. Вокруг — о чудо! — стояли десятки деревянных и каменных крестов, они были не совсем похожи на крест мучений Спасителя, но это были кресты, равносторонние, аккуратные, некоторые — забранные в круг, и, судя по всему, многим из них было уже не по одному десятку лет, настолько они почернели и обветшали.

«Господи, откуда это все здесь, ведь такого не может быть! Кругом язычники, им не ведомы ни Имя Его, ни Слово Его!» — Андрей недоумевал и крестился.

Музыка стихла. Девушка с удивлением и оторопью смотрела на странника, неожиданно появившегося в их древнем святилище. Пепельные волосы ее были заплетены в длинные косы и забраны нешироким бронзовым

обручем с небольшими подвесками в виде зреющих лун. Такие же луны украшали и ожерелье на длинной красивой шее. Загоревшее, слегка продолговатое лицо с высоким лбом, чуть выраженными скулами, густыми русыми бровями, большими небесного цвета глазами и чувственным ртом в рассветных лучах солнца казалось отлитым из старого античного золота. Апостолу никогда не доводилось видеть такой красоты. Нет, нечто подобное он видел в Египте в древних храмах, где стояли статуи цариц и великих жен великого царства, живших на берегах Нила тысячи лет назад.

Но внизу тек к Эфклийскому понту Борисфен и до древних пирамид были тысячи и тысячи миль, а юная прекрасная музыкантша стояла перед ним и с доброжелательной улыбкой протягивала глиняную чашу с молоком.

Андрей принял этот знак уважения, отпил несколько глотков:

— Солнечный человек! Как называется твое племя? — спросил он по-гречески, возвращая сосуд.

— Ой дзядечка! Я зусим и ня разумею, аб чым ты гаворыш. Ты крышачку пачакай, зараз прыдуть старэйшыя, можа ж, яны неяк тябе зразумеють.

Старику казалось, что девушка не говорила, а о чем-то пела — таким мелодичным и приятным был незнакомый ему язык.

— А что это? Как это называется по-вашему? — указал он рукой на ближайшие к нему кресты.

— Дык не разумею ж я тябе. Маладая ящэ, нерозумная, таму и мовы чужанскай ня ведаю, але ж дай часу вывучу, — девушка говорила медленно и громко, так ей казалось, что чужинец может хоть что-то понять из ее объяснений. С недоумением она смотрела, как стран-

ный человек стал на колени перед самым большим крестом, посвященным давнему хранителю святилища великого Ярилы и принялся, махая перед собой рукой, что-то негромко и горячо говорить.

— Гэта крыжыки, — глядя на кресты, произнесла она, — мы таксама каля их молимся Богу.

— Кристус! Ты сказала Кристус? — вскакивая с колен и повторяя латинское слово, закричал Андрей.

Их громкие крики эхом отозвались в утреннем бору, откуда уже спешили люди в длинных белых одеждах.

К радости Апостола, среди служителей этого языческого культа оказались люди знающие и греческий, и ромейский и, что его особенно поразило, немного понимающие иудейский. Узнав, что он из Иерусалима, высокий седой старик, видно, старший здесь, куда-то отослал девушку. А сам принялся объяснять через толмача, что находятся они в древнейшем святилище главного бога земли, бога света и жизни, и зовут их бога Ярило — Солнце.

— А кресты, что значат эти кресты? — нетерпеливо перебил седобородого Андрей. — И почему их так много?

— Мы не знаем, когда появился этот знак и откуда его принесли наши предки, но известно доподлинно, что обозначает он солнце...

— Это знак их Бога, — на чистейшем иврите перебил толмача подходящий к ним человек, по одежде и манерам — гефсиманский купец. — А ты, наверное, из последователей Иисуса из Назарета?

— Да, я Андрей Галилеянин, ученик моего Господина.

— Да, брат, далеко тебя завел твой учитель! Ну и много, рыбак, ты наловил душ человеческих?

— Ты знал Учителя? — обрадовался Андрей.

— Я видел его и пару раз слушал бред, который он нес людям. Я купец, и меня устраивает мой старый и проверенный бог. Он не требует от меня никаких истязаний тела и совести. Зачем ты пришел в эту тихую и спокойную землю? По одежде вижу, что не торговать. Хочешь рассказать им — обвел руками все прибывающих людей — про распятого преступника? Воля твоя. Пробуй, я тебе даже помогу с переводом. В моей торговле это может сгодиться. Я не против быть родней из нового Бога. А вообще-то, — купец крепко обнял Апостола — я рад тебя видеть, иудей. Три года не слышал родной речи в этой глуши.

— А как называется народ, здесь живущий? — пропуская мимо ушей слова собеседника, поинтересовался Андрей.

— Сами себя они называют радимичи и кривичи, есть еще и дреговичи, но те сюда приходят редко. Фактически это один народ, но они считают себя людьми разных племен, хотя между собой воюют редко, говорят, как мне кажется, на одном языке, жен берут друг у друга, вот из-за последних у них чаще всего и возникают конфликты.

— Да я уже успел заметить, что женщины здесь необычайно красивы.

— Вот останешься, поживешь малость и выберешь себе жену. У них нравы просты, надо только праздника дождаться, а там ни одна тебе отказать не решится, если поймаешь, конечно. Можешь после священной ночи в дом свою избранницу привести, можешь оставить без особого внимания, все равно и она в одиночестве не останется, дитё не помеха, ребенок, зачатый в святую

ночь, считается ребенком бога. Да и вообще они чудной народ, денег не знают и особой любви к ним, в отличие от нас, не питают.

— Моему Господину такие люди понравились бы. Извини, я совсем забыл спросить, как тебя зовут, солнечный человек?

— Давид я, из дома Вениамина. Мне тоже здесь нравится, скоро сыновья вернутся с женами и детьми. Решил я здесь осесть, чего уж от добра добра искать, на родине давно уже несладко, да и опасно.

— Послушай, Давид, как ты думаешь, позволят ли они здесь воздвигнуть Господень Крест? Где-нибудь на краю обрыва, чтобы видать было далеко?

— Сейчас узнаем, — и купец заговорил с седовласым стариком. Речь его была гортанной и крикливой, как речь иудея, а слова чужого языка, так понравившиеся Андрею, звучали из его уст проще и грубее, с характерным рычанием. — Он спрашивает, означает ли твой крест Свет?

— Да, да это символ Света! Это знак Солнца солнц, это древо вечной Жизни.

— Блаженный ты, как и твой Учитель, — усмехнулся Давид и с серьезным и важным видом принялся что-то объяснять старику.

Крест установили всем миром на том месте, которое понравилось Андрею. Когда все довольные работой стояли, полные братской любви друг к другу, изливаемой на землю великим Богом, апостол сказал проповедь, Давид переводил, но никто не мог поручиться за его точность.

Солнце было уже высоко, а корабли и не собирались уплывать, прямо на берегу развернулась бойкая

торговля. Капитанам хозяева дали команду задержаться до следующего утра. Давид, видя такое дело, заспешил и в скорости убежал по своим делам. С Андреем остался главный смотритель святилища, его помощница, которая так очаровала святого игрой на жалейке, так здесь называли эту дудку, да средних лет толмач из местных.

Они не спеша обошли святилище, по лесной тропе и тайным деревянным мосткам спустились в небольшое городище, расположенное за довольно широкой и шумной речкой. Речушка разделяла старую дубраву, оттого, наверное, и звалась Дубровенкой. В глубине дубового леса тоже было святилище, но Андрею его не показали, чужим, детям и молодым женщинам туда ходить запрещалось под страхом смерти. Все попытки разузнать, какому божеству там жгут негасимый огонь, остались безуспешными. В городке люди жили равно, и жилища одних не особо отличались от жилья других. Все сооружения служили больше обеспечению безопасности поселян, чем комфорту и роскоши отдельных граждан. Дома, равно как и сундуки в них, не запирались.

«Живут как по заповедям Господина моего, хотя и не знают их. Но я верю, воссияет свет Истины от Креста, мною воздвигнутого над местом этим, и много послужит народ здешний имени Христову, — думал Андрей, возвращаясь уже в сумерках к своей ладье. — Много невзгод, бед и кривды придется им претерпеть за это, ой много!»

У костров шел настоящий пир. Радимичам не понравилось виноградное вино Ольвии, и они прикатили несколько бочонков своей медовой браги.

— Вот где живет настоящий хмель, а вашей кислятиной только мясо старого хряка квасить! — лихо

выбивая чоп и подставляя под шипящую золотистую струю деревянную братину, крикнул местный предводитель Рюр. Отхлебнув меду, он поискал глазами, кому бы передать братский ковш, чтобы не обидеть гостей и, приняв Андрея за местного жреца, протянул его ему.

— Да уж этот точно по достоинству оценит твое вино, вождь! — пошутил кто-то из купцов. Все весело засмеялись.

Андрей не любил спиртного, а если доводилось пить, обязательно на греческий манер разбавлял его водой. Отказаться от чаши сейчас у всех на виду было равным оскорблению, и он сделал небольшой глоток. Напиток ему понравился, под одобрительные возгласы он еще отпил сладкой, хранящей вкус воска, медовухи. Передал ковш капитану самого большого корабля и пошел собирать своих. Когда веселье набрало обороты, хозяева по команде своего предводителя попрощались со всеми и, оставив гостям заповедные бочонки, удалились, не забыв выставить стражу на подступах к своему городищу.

Слегка захмелевший Апостол сидел в кружке единоверцев и рассказывал им забавные истории из своей жизни.

— Смотри, учитель, смотри! — перебил его пожилой гребец из скифов, указывая рукой в темноту, — Крест Господень, наш крест.

Все повернули головы. Высоко над Днепром вздымался темный силуэт креста, свет недалекого языческого костра не застил его, а наоборот подсвечивал и делал необыкновенно величественным и огромным.

— Помолимся, солнечные люди! — предложил Андрей.

Все встали на колени, над засыпающей рекой, словно перезвон будущих колоколов, поплыли упругие слова молитвы: «Отче наш, иже еси на небеси...» Все дальше и дальше улетали нездешние слова, растворялись в белесом тумане и становились его частью, и никакая сила уже не могла их разъединить. Так и остались они едиными и в жизни, и в помыслах живущих и ныне окрест людей.

— Утром сборы были быстрыми. Следовало спешить, лето уже подходило к своей середине, а путь еще был долог.

— Городище и Святилище наше зовется Могулив.

— Оно похоже на иудейское, — обрадованно перебил Светозара Андрей, — и может быть истолковано как «место избранных».

— Значит, действительно, Бог един! — улыбнулся в белую бороду жрец — наш Могулив мало чем по смыслу от вашего «избранного места» отличается и тоже обозначает место, на которое изливается могущество и величие Ярилы. Отсюда «могутный», то есть великий, и «лив», что значит лить. Вот так-то.

— Да, воистину неисповедимы пути твои, Господи! Вы уж за крестом приглядывайте.

— За крест не переживай, досмотрим. Возвращаться не зову, хотя кто знает. Вот возьми, это тебе Ярислава просила передать, сама придти не могла, ей играть надо, Бога будить. Он любит ее жалейку, — старик протянул Апостолу странный косой крест, похожий на римскую цифру десять, — во сне она видела эту странность и еще засветло его сама смастерила. Говорит, что он твой и ты с ним никогда не расстанешься.

3

Ладьи уплыли быстро, гребцам помогал попутный ветер. Только истоптанный песок, головни и пепел костров, пустые бочонки и другой мусор напоминали о недавней стоянке спешивших к северу гостей. Сверху над всем этим золотился в первых лучах солнца второй Крест Апостола Андрея.

Пройдут века, небольшое торговое городище переберется на место древнего языческого капища, сгниют, сгинут и растворятся в неизвестности древние кресты, погаснет вечный Знич, и только одно выживет слово «Могилев», и будет оно сиять в поднебесье крестами своих церквей и костелов, славить Бога и своих великих сыновей. И будут ученые и поэты ломать головы над его смыслом и придумывать красивые и не очень истории. А правда и о Могилеве, и об Андрее, и о Яриле, и о Рюре как жила, так и будет жить в преданиях и памяти моего славного и древнего народа.

Овес и власть

Как раз в нынешний межлизень приехал к нам с женой гость зарубежный, хороший наш знакомец, ярый демократ и в прошлом такой же ярый антисоветчик Том Джонсон. Дружим мы давно, отсюда и отношения наши намного теплее и доверительнее, чем между официальным Лондоном и Москвой. Встретились, облобызались, чего уж греха таить, изрядно накатили с дорожки за приезд, так что перед отходом ко сну в опешивших наших желудках колыхалось изрядное количество интернационального коктейля, при этом компоненты его были выверенными и никогда не опускались ниже сорокаградусной отметки. Вечерний разговор был под стать выпитому — серьезным и разноплановым. Только от былого нашего единодушия застойных времен мало чего осталось: в этот раз российской власти больше доставалось от меня, а Том, нацепив на себя мантию адвоката, стоял на ее защите.

— Как интеллектуал ты не вправе требовать моментальной демократии, — горячился альбеонец, — такого просто не бывает. Это не революция! Бах-трах-тарарах: этих к стенке, этих в правительство, народу по зубам —

и полный порядок, приход свободы — процесс длительный, тяжелый, местами не всегда приятный, только терпение, толерантность и созидательный труд в своей сумме могут дать правильный и нужный результат, и то через десятилетия, века, понимаешь?

Я уж и не упомню, чем я ему крыл в ответ, но костерил родное руководство крепко: и за тупое упование на бесконечность нефтяной реки и газового потока и за наплевательское отношение к простому человеку; и за непомерную концентрацию огромного богатства в руках кучки самозваных патрициев.

— Да это же форменное рабовладение, а не демократия, — плотнее прикрывая дверь, распалялся я не менее приятеля, — согласен с процессом, разнесенным в веках, однако я категорически против терпения и трудностей, да еще затяжных! На моем веку этого добра уже было предостаточно, я хочу свободы сегодня и для себя, а не для Абрамовича с Грызловым.

— Нет, ты не прав, так не бывает! Ваши олигархи — атавизм вчерашнего дня, это пройдет…

— Это я пройду, как когда-то прошли мимо жизни мои родители. Вот, Том, ответь мне на один единственный вопрос, и мы сменим тему: кто или что у вас обеспечивает своим подданным свободу — власть или деньги?

— Конечно, власть! Вернее, государство, всей мощью своих институтов, — ловко подхватывая уже оплавленные кусочки льда серебристыми щипчиками и переправляя их в широкий стакан с янтарным ирландским напитком, с гордостью произнес друг.

— А у нас деньги и доступ к телу!

— Какое тело, при чем здесь секс? Я тебя не понимаю! Власть и интимные отношения никак не взаимосвя-

заны, если это происходит, возникает скандал, большой скандал, и кто-то обязательно лишается своего места.

Не стал я ничего ему объяснять, ибо невозможно объяснить очевидное, особенно тому, кто его не видит. А с нерусскими, как я успел заметить, всегда так происходит. Может, поэтому с ними легче согласиться, на худой конец, промолчать, чем что-то доказать, особенно, если это не поддается измерению его аршином.

Вот, к примеру, завел я (нет — боже упаси! — без всякой попытки критики старейшей демократии) разговор об исламизации современной Европы, дескать, не интересно мне стало приезжать в Париж да и в его родной Лондон. Дома те же, музеи на месте, ландшафт впечатляет, а внутренний мир столиц уже не тот, шарм, что ли, исчез, не греют меня больше некогда любимые кафе, чужими они становятся и неприветливыми, грязи больше, грубости, в телефонных будках нагажено, как у нас при социализме, в некоторые кварталы, если ты не той масти, и вовсе лучше не соваться.

И тут британца понесло! Хорошо, хоть мама не дожила до такого позора и не слышит, как ее любимого сына кроют на все лады в его собственном доме, за его собственным столом! Он костерит, а мне смешно, держусь что есть мочи. Елена уже на крик прибыла. Том, ухватив ее за рукав, угрожающе подняв правую руку вверх, как бы призывая Господа в свидетели, возвестил:

— Ты даже, Елена, не подозреваешь, с каким ты чудовищем живешь, он же расист! Для него важен цвет кожи живущих в том или ином квартале людей! Ужас! Ужас!

— Вы пить заканчивайте, и расизм на убыль пойдет! А ты, Казаков, свои дурацкие шуточки прекращай.

Том же их за чистую монету принимает, ты что, не видишь?! — и она попыталась утащить со стола сразу две посудины недопитого вискаря.

Однако этому тут же воспротивились оба. Получилось как на Женевской конференции: в частностях наши взгляды и убеждения расходятся, но базовая платформа едина. Отстояв законное, выпроводив чуждый в нашем общем деле элемент, мы продолжили.

— А я вот, Томушка, теперь точно знаю, за что вас так люто не любили сипаи!

— И за что же это, интересно?

— За то, что у вас всегда другие не правы. Скепсис погубит нынешнюю Европу. Мне-то что, я приехал, в Темзу поплевал, на Бэна поглазел, в любимую Ирландию съездил — и домой, в Москву, а у нас, между прочим, что на Арбате, что в Бутово — одинаково — гуляй не хочу! Конечно, может и там и там по шее прилететь! Но это судьба, и от цвета твоей кожи она никак не зависит. Конечно, может, вам ваша нынешняя жизнь и нравится, не знаю! Мне, однако, привычнее по-другому: хочется экзотики Востока, я туда и еду. Хочется древнего духа свободы — еду к тебе, но, поверь, меня совсем не прельщает скверненький филиал северной Африки на Шанз-Элизе в Париже. Мнения тебе своего не навязываю, в конце концов, это вы, а не мы проповедовали когда-то миру: «Несите бремя белых...»

— А может, именно за это мы и наказаны...

Одним словом, сами видите, долгий и непростой был разговор, но, слава богу, всякое застолье кончается примиряющим сном.

За что уважаю англичан, они умеют держать удар и не помирают утром от похмелья, как скандинавы.

Жена расстаралась и устроила потомку колонизаторов классический завтрак с традиционной овсянкой. Опохмеляться за столом ввиду присутствия вражьих сил я, естественно, не предлагал, мы это проделали задолго до стола, и посему сидели и наяривали кашу. Я как-то увлекся, а подняв голову, увидел печальные глаза друга, который, поелозив языком во рту, деликатно через ложку выкладывал на край тарелки маленькие, тоненькие, но неприятно-шершавые скорлупки раздавленных зерен. По краю моей посудины уже высились целые горы подобных плевел. Я к ним так привык с самого детства, что и не замечал, числя неотъемлемой частью этой каши. Прочитав мой немой вопрос, Том вздохнул, положил ложку на стол и, как-то извинясь, произнес:

— Судя по овсянке, у вас в стране действительно что-то не то происходит.

Мазур

Мазур плакал — некрасиво, по-детски широко размазывая слезы по впалым, давно не бритым щекам. Плакал навзрыд, захлебываясь, подвывая прокуренным, сиплым голосом. Порой эти протяжные звуки жалости и беспомощности, открытые и безоружные, как молитва, застревали где-то глубоко в горле и превращались в нечеловеческий, пульсирующий в гортани вой. Угадывая неясные контуры приближающейся смерти, человеческое естество замирало где-то в глубине холодеющей души и выпускало наружу свою звериную сущность, которая ведала все, все понимала и, только не умея говорить, обращала человеческую речь в древний и знакомый природе вой.

Когда в предрассветном, весеннем, еще зябком мареве с треском вылетела входная дверь его хаты и первый испуг совпал с неуловимым мгновением пробуждения, Мазур понял — его сегодня убьют. Вслед за дверью, со звоном выбиваемых стекол, в дом, матерясь, вбежало несколько человек. Мазур спросонья не мог разобрать их лица, только белые мутные пятна, венчающие темные силуэты, недобрыми, лающими голосами требо-

вали его. Громко запричитала скрипучим старческим голосом Авдотья, а вслед за матерью, оправившись от испуга, заголосила жена. И этот нарастающий женский плач дополнили три детских, неравных по силе голоса.

— Заткнитесь, суки, — зло заорал один из непрошеных гостей знакомым Мазуру голосом.

Грохнул всезаглушающий выстрел. Подслеповатая, окрашенная в кровь вспышка показалась нестерпимо яркой. Пуля стукнула в потолок как раз над их кроватью. Сверху посыпалась какая-то пахнущая потом и копотью труха. На секунду воцарилась тишина, и только эхо выстрела продолжало больно биться в контуженных барабанных перепонках.

— Выходи, морда палицайская, что обомлел, як баба? — зло прохрипел все тот же знакомый голос.

Мазур сидел на кровати, свесив натруженные ходьбой костлявые ноги в коротких белых подштанниках с развязанными на ночь тесемками. Он ощущал, как испуг, рожденный первым громким звуком, разливался по его телу, превращаясь в мерзкий липкий страх. Что-то больно стукнуло по скуле, и тряпка, пахнущая его потом, накрыла голову. Боль погнала страх, ойкнув, он сгреб с лица шмотье, им оказались брошенные кем-то портки.

— Одявайся, халуй нямецки и выходь з хаты.

Мазур, не произнеся ни слова, натянул штаны. Вынул из кармана и зачем-то бережно положил на подушку оселок, который забыл вчера в кармане. «Хорошо, что глаз не выбил, зараза», — подумал он, вставая на слабые от страха ноги. Бабы и дети заголосили с новой силой. Сапоги ему обуть не дали, а перед выходом из хаты сунули в руки поношенный черный драповый

пиджак, все еще, как ему казалось, пахнущий вкусными городскими запахами. Пиджак этот он получил года два назад в райцентре вместе с винтовкой и белой повязкой, на которой черной несмывающейся краской была написана буква «Р». Ко всей этой амуниции прилагалась бумага, гласившая на белорусском и немецком языках, что податель сего, Мазур Игнат Харитонович, является полицейским деревни Замостье и находится на службе оккупационных властей. Бумагу он берег. Завернутая в чистую тонкую холстинку, она лежала во внутреннем кармане пиджака, который Игнат торопливо надевал, подталкиваемый в спину прикладами винтовок. Сзади в пять голосов выла его семья.

Во дворе, вдоль забора, стояло человек десять незнакомых мужиков. Одетые по-разному, обросшие, с разномастным оружием, они угрюмо и безразлично смотрели на Мазура. Сбоку от ворот на большой дубовой колоде, где кололи дрова, сидел человек с худым, чисто выбритым лицом, в черной каракулевой кубанке с красной солдатской звездочкой. Поверх защитного цвета немецкого френча на нем была овчинная, крашеная луком безрукавка. Темно-синие галифе с малиновым кантом, заправленные в высокие хромовые сапоги коричневого цвета, завершали его необычный гардероб. Ни командира, ни партизан Мазур не знал. «Можа, какие нездешние», — мелькнула у него мысль.

— Товарищ командир, вот этот полицай, это он завчора ездил в местечко и доложил, гад, про ваших хлопцев. Ну, про тех у моста, которых немцы постреляли.

Мазуру стало обидно. Он ни к каким немцам никогда не ездил, ни про каких партизан у моста до вчерашнего вечера не знал. Аделькин кум, приехав с железно-

дорожного разъезда, рассказал деревенским о том, что прошлой ночью партизаны заминировали Чернявский мост и сидели в засаде, дожидаясь военного поезда. Сидеть, видать, было скучно, кто-то сбегал в Чернавцы и приволок бутыль самогонки. Хлопцы на голодный желудок напились и, увидев немецкую мотодрезину, попробовали взорвать мину, которая, видать, отсырела или еще по каким причинам взрываться не стала. Тогда Никола, сын Егора Кныша из Чернолесья, в пупок пьяный, выскочил из кустов и стрельнул из винтовки в дрезину. Немцы остановили свою технику, а было их человек двадцать, попрыгали на землю и перебили партизан. Николу, который, споткнувшись, сам скатился к насыпи и заснул, скрутили и увезли с собой. Мост, конечно, разминировали и поставили часовых. Только ж партизаны те были все здешние, из отряда Михаила Карповича Затонского, которого все в округе знали.

— Никуды я не ездил, — зло огрызнулся Мазур и тут же схлопотал по морде.

— А у тебя, халуйское мурло, никто и не спрашивает!

Мазур засопел, вытирая разбитые губы. Только сейчас до него дошло, что знакомый голос принадлежит Шарапке — Ивану Шарапчуку, бывшему колхозному счетоводу. Ивана аккурат перед самой войной забрали в Красную Армию. В Замостье он объявился зимой сорок первого года, как раз перед шляхетским Рождеством. Ходил по деревне тихим, каким-то пришибленным. Немного отлежавшись и поправившись, Шарапка стал частенько наведываться в местечко, а на Масленицу заявился в деревню вместе с немцами, которые через переводчика объявили, что с сегодняшнего дня Иван

Шарапчук назначен старшим полицаем их сельбища и является полноправным представителем нового порядка. Немцы пробыли в деревне до обеда, немного пограбили и уехали. Иван остался один. Дня через два на подводе в Замостье приехали еще трое полицаев. Люди эти были нездешние и в большинстве своем пьянствовали в местной школе, а ночами насиловали учительницу, которая, как говорят злые языки, была полукровкой и молчала, боясь за себя и двоих деток. Мужика у учителки не было, а в деревню ее привез летом тридцать девятого председатель райисполкома Иван Васильевич Порейко. На седьмое ноября в сорок втором году его повесили в райцентре на большой старой липе вместе в пятью активистами подпольного райкома партии. Люди поговаривали, что продал их немцам Шарапка.

И вот сейчас он, тот самый Шарапка, который уговаривал Мазура записаться в полицаи, который требовал от него сообщать обо всем, что творилось на их конце деревни, этот самый Шарапка стоял на его дворе, одетый в длинную красноармейскую шинель, с наганом в руке и обвинял Игната в каких-то несусветных грехах. Все Замостье знало, что Игнат, которого, иначе как Мазур, никто с детства и не называл, не мог обидеть не только человека или скотину, но, бывало, останавливал телегу и пережидал, когда дорогу переползет шустрый уж или перебежит деловой ежик.

— Мазур у нас божье бя, — издевались над ним мужики и сверстники, когда он, покраснев, молча вставал и уходил, не желая слушать их пьяного похабного бахвальства. Его одногодки уже вовсю женихались, а на Купалову ночь такое вытворяли с девками в Богдановом урочище, что и сказать совестно, а Мазур все еще

ходил нецелованным. Годов в пятнадцать он влюбился в Маню Аляхнович и втайне сох по ней. Надо отметить, что и Аляхновичиха тоже была еще той цацей, колкой да неприступной, со шляхетским гонором. Кто только ни подбивал к ней клинья — всем от ворот поворот. Так что недолюбливали ее и девки, и парни. В лето перед свадьбой Мазуру минул уже девятнадцатый год, пристрастился он по вечерам ходить на Галагаев хутор. Придет осторожно, чтобы старый Галагай, Манин дед, не заметил, сядет на спрятавшуюся в кустах сирени скамейку и с тоской часами глядит на подслеповатые окна засыпающей избы. Там, за вышитыми занавесками, спокойно и ничего не ведая, спала его единственная земная любовь. Чего только он ни выдумывал: то вот бы хата занялась, а тут он и спасает из огня ее и всю родню; или в темную и непременно дождливую ночь нападают на Аляхновичей бандиты, ну и, естественно, он всех перебьет и заслужит ее любовь. Потом эти мечтания казались ему глупостью и детством, а пока он сидел в своей засаде и еле сдерживал слезы обиды и безысходности. Ему было жалко себя. Здоровый, видный парубок, в руках которого спорилась любая работа, он был объектом вздыхания многих окрестных девчат. Правда, с грамотностью у него были нелады. Да как им было не быть, когда батька, узнав, что советская власть запретила Закон Божий, забрал его из школы со словами: «Чытать, писать крыху, сыночак, умеяш и досыть! Працавать треба». Но все это было давно, а теперь он сидел, как пень, в сирени и страдал. Вдруг Мазур онемел от неожиданности, сзади осторожные и нежные ладони коснулись его лица. Не оборачиваясь, он сгреб

эти тонкие, прохладные, пахнущие летними травами пальцы и прильнул к ним губами.

— Ну чего ты, глупенький, томишься сам и меня уже который год сушишь? — нежно гладя его по голове, спросила Маня, опускаясь рядом с ним на скамейку.

Они долго, до боли в губах целовались. Мир кружился, два сердца колотились, как две крупные рыбины на мелководье. Ночи летели как минуты. Надышавшись сладостью девичьих губ, Мазур днем пахал, как двужильный. Тогда живой еще отец, по-доброму глядя на сына, старался в обеденный зной, когда все в округе замирало и воздух обращался в липкий тягучий нектар с горькой примесью сохнущей травы, подольше его не будить. Однажды они сушили сено на своей делянке у Катерлова омута, Игнат, с трудом выбравшись из послеобеденного сна, бросился к спасительной речке. Скинув штаны, он сильно оттолкнулся от песчаного берега и нырнул в прозрачную прохладную воду. Уже всплывая, он разомкнул веки. Слегка зеленоватый подводный мир с миллиардами крохотных воздушных пузырьков, таинственные, поднимающиеся из темной глубины и наклоненные в сторону течения водоросли, пронырливые пескари на желтом песке — все это открылось его взору. «Почему люди не умеют жить под водой?» — подумал Мазур и поднял голову навстречу приближающемуся солнцу. Прямо перед ним быстро двигались вверх-вниз длинные девичьи ноги, окруженные ослепительными пузырьками, проплывали белые с коричневыми пятнами сосков груди, покатый живот, красивые загорелые руки. Игнат от удивления и неожиданности чуть не захлебнулся. Он пробкой выскочил из воды.

Перед ним на отмели, закрывая левой рукой груди, а правой — низ живота, стояла испуганная Мария. Узнав Мазура, она прыснула и, повернувшись к нему спиной, побежала к берегу. Игнат, встав на отмели, как зачарованный, смотрел ей вслед. Маня не спеша отжала волосы, надела на мокрое тело сарафан и повернулась к нему. Их разделяло метра три мелкой, прогретой солнцем воды. Озорная улыбка медленно сползла с лица девушки, глаза наполнились любопытством, смешанным со стыдом и еще каким-то пока не известным, но очень трепетным чувством. Игнат перехватил этот взгляд, опустил вниз глаза и, увидев свое восставшее мужское достоинство, с диким стоном бросился назад в реку. Следующая ночь стала первой и положила начало отсчета их общей жизни. Уже после их свадьбы и после рождения троих детей и зачатия четвертого вновь и вновь он вспоминал тот первый сладкий волшебный туман.

Сбросив оцепенение, Мазур метнулся к командиру:

— Товарищ начальник, так это ж Шарапка и уговорил меня пойти в палицаи, ён жа сам старшей палицай у нашей дяревни. Вы, товарищ, спросите у любога, вам уси скажут. Ну який я полицай? Так, одна видимость, я ж и партызанам дапамогаю. У меня там под печкой и паперки есть, — вдруг Мазур осекся и замолчал. — Згубил ты себе, дурань! Не партызаны яны.

— Что ж ты, здрадник, змолк? — едко улыбаясь, спросил на чистом белорусском языке командир.

«Не, не партызаны», — глухо заколотилась у Мазура в висках кровь.

— Сыч, давай-ка, пошарь у него под печью, — теперь уже по-русски громко крикнул командир.

«А халера их тут разбярэшь», — подумал Игнат и получил удар под дых.

Мазура били ногами. Он не кричал, только извивался, как уж, пытаясь закрыть то лицо, то низ живота, но скоро, отупев от боли, съежился в комок и окаменел.

Солнце уже встало. Вокруг Мазурова двора собрались соседи. Бабы вполголоса плакали, мужиков почти не было, а те, кто пришел, стояли вдалеке, молча курили, сплевывая себе под ноги. Видно, ни у кого не было охоты вмешиваться в чужую беду, да и что бы дало это вмешательство, кроме новой беды.

— Вот, госпо… товарищ командир, в подпечьи, в самом углу нашел, — осекшись было на полуслове, отряхивая со штанов пыль, угодливо затараторил средних лет мужичонка в кургузой телогрейке. — Поглядите, тут и деньги, есть и бумажки какие-то.

— Дай сюда, придурок, — зло гаркнул на подчиненного сидевший на колоде человек и с силой дернул из грязных рук круглую жестяную коробку из-под леденцов. Не глядя на содержимое, начальник не спеша засунул ее в карман безрукавки и равнодушно бросил избивавшим Мазура людям:

— Хватит с него, и так уже видно, что бандит, и нашим и вашим, собака, умудрялся служить. Где его сброя?

Винтовку искали по всей деревне. Недели три назад Мазур отдал ее Трофиму, собиравшемуся сходить на охоту, а тот, в свою очередь, оставил оружие Мазуровому тестю. Дед устроил возле леса огород, посадил картошку и теперь ночами сторожил, чтобы дикие свинья не съели его урожай.

Принесли видавшую виды трехлинейку и две обоймы с патронами. Несчастного подняли с земли,

поставили на колени и долго что-то кричали об измене Родине. Голова гудела, Мазур слабо понимал смысл истеричного вопля начальника партизан или хрен его знает кого. Игнат знал, что никогда не имел никакого дела ни до какой Родины, как и эта самая Родина никогда ничего не давала ни ему, ни его семье. В политике он не разбирался, в армии не служил, из деревни не выезжал ни разу, жил своим умом, пахал себе землю, сеял хлеб, растил детей, как умел, любил Марию, на чужое не зарился, в Бога не то чтобы не верил, а так знал, что он есть, и особо старался не докучать своими просьбами или жалобами, ну разве, если уж совсем допечет. В полицаи пошел ни по Шарапкиным уговорам, хотя и они тоже были. Как-то осенью, еще в начале войны, ночью в его хату пришли трое. В одном он признал Ивана Васильевича Порейко, дальняя родня которого жила в деревне. В юные годы будущий волостной начальник пытался безуспешно приударять за Марией. Может, прошлые чувства, а может, осенний дождь, но что-то привело его со спутниками к Мазурам. Быстро накрыли на стол. Игнат выставил полуторалитровую бутылку самогонки. Посидели, поговорили. Уже уходя, Иван Васильевич отозвал хозяина в сторонку и попросил помочь его людям. «Понапрасну тобой рисковать не будем, вон, сколько по лавкам сидят. Главное, молчи о нашем уговоре, ты ведь у нас единоличник, это сейчас и хорошо. Вроде как и с советской властью не согласным был, так что помогай своему народу. Придет время, все зачтется».

Люди из леса приходили действительно нечасто. Когда Шарапка пристал, как банный лист, со своим

полицайством, Игнат спросил у Ивана Васильевича совета. Сообща порешили, что так будет даже безопаснее. И все бы хорошо, но с сорок третьего, когда движение народных мстителей окрепло, и в деревню стали заходить партизаны из других отрядов, Мазуру пришлось тяжко. Порейко погиб, да и трудно было что-то объяснить чужим, зачастую не совсем трезвым, озлобленным людям. Партизаны ж были разными, иные, заскочив в избу, первым делом начинали потрошить сундуки, требовать сала, самогонки и тащить молодух на сеновалы. Мазур от партизан не прятался, односельчане — у многих родственники были в лесах — о его полицайстве молчали. Шарапка, видимо, чуя, что за Порейко с ним поквитаются, сбежал в местечко. Немцы в их глухомани уже с год не появлялись, так что жили они с Маней, можно сказать, спокойно. Игнат, правда, сильно переживал, когда кто-нибудь из залетных, плотно перекусив, заставлял стреножить овечку или сводил со двора телку. Неделю он ходил нелюдимым, тяжко вздыхал, о чем-то сам с собой разговаривал, подолгу топтался в хлеву, как рассерженный кот, фыркал на Марию, та снисходительно улыбалась: «Ты вот погоди, Советы вернутся, вообще скотину заберут, и останемся мы с одними курями. Кинь ты все и не рви себе душу, дурень ты мой, дурень». Жена была уже на восьмом месяце, и Мазур, повздыхав еще для порядку, подсаживался к ней и прикладывал свою, уже седеющую голову к большому, налившемуся животу. Он внимательно вслушивался в странные тихие звуки, живущие внутри Марии. Он ждал с нечеловеческой, звериной лаской, когда оттуда, из глубины его люби-

мой женщины, кто-то, еще невидимый и незнакомый, осторожно толкнет его в небритую щеку. По этим таинственным толчкам он пытался угадать, кто, признав в нем своего, скоро появится на свет. У Мазура было двое сыновей и дочка, сейчас, в отличие от Марии, он ждал девочку. Она ему даже снилась, такой же красивой и таинственной, как ее мать в той летней и счастливой реке.

Стоя на коленях, Мазур видел только коричневые сапоги партизанского командира. У левого облупившегося носка дымился окурок приторной немецкой сигареты. Сизый дымок, изгибаясь плоской узкой ленточкой как, змея, тянулся вверх, раздваивался и, медленно вибрируя, таял в теплом воздухе набирающего силу дня.

Выстрела Мазур не слышал, только как-то по-детски ойкнул и поднял к высокому безоблачному небу полные слез и удивления глаза.

Испуганные выстрелом аисты снялись с большого колеса, которое Мазур с сыновьями перед Пасхой приладил на березе, и закружились над осиротевшим домом.

Мазур вскочил с постели, остатки кошмарного сна еще витали в сонном воздухе их городской квартиры. «Чертовщина какая-то», — подумал он, осторожно косясь на мирно сопящую рядом Риту, как будто этот странный сон мог разбудить и напугать его беременную жену.

Игнат, которого так назвали в честь деда, убитого переодетыми в партизан полицаями, потянулся, чтобы выключить ночник. Вдруг в ближней к нему стороне огромного Ритиного живота родился крохотный бугорок, оттопыривая тонкую ткань ночной рубашки,

он сделал полукруг и замер, остановившись у самой вершины. Кто-то новый, незнакомый, но уже до боли любимый, признавая в нем своего, пытался что-то сказать Мазуру.

Память часто преподносит нам странные сюрпризы.

За окном в предрассветном, весеннем, еще зябком мареве рождался новый день. Высоко над городом летели аисты — большие сильные птицы, которые, по народному мудрому разумению, с древних времен приносят в наши дома счастье. Кто от кого зависит в этом мире — мы от птиц или птицы от нас? И кто знает, где кончается сон и начинается явь и куда вместе с нами течет неуловимое время...

Реста

Мир для меня начинается в маленьком, ныне обветшавшем поселке со странным и таинственным названием Реста. Там недалеко, за лесом, у Бардиловского хутора, течет спокойная и тихая речушка Рудея. Странно, давно уже нет никакого хутора, перед войной всех окрестных хуторян согнали в кучу, так, видать, властям было спокойнее, и речки давно уже нет, ее после моего детства перегородили невысокой платиной и сотворили большое мутное от торфа и постоянно цветущее водохранилище, населенное салитерной рыбой. Самой реальности нет, а названия и память остались. Так вот, эта самая Рудея, попетляв средь полей, лесов и стрекочущих кузнечиками луговин, тихо впадала под самой Красницей в надменную и быстротечную Ресту. Где и как куролесила эта, давшая название моему миру река, я долгое время не знал. В такие дали даже с отцом мне забираться тогда не разрешали. Но зато всем было точно известно: Реста выныривала из своих тайных путешествий там, за железнодорожным переездом, от которого над крутым откосом, усеянном в июне земляникой, вела узкая песчаная тропинка к двугорбому железному мосту. Сегодня это невзрачная, неширокая и

какая-то скукоженная, почерневшая от обиды речушка, а тогда она мне казалась настоящей стихией, пенящейся у серых бетонных опор, крутившей широкие водовороты и стремглав уносившей куда-то в населенную приключениями даль. Даль в моем тогдашнем понимании должна была неизбежно заканчиваться морем. Море! Как я им бредил! Кривич — дитя болот, пущ и древних курганов, я неистово мечтал о море и горах и оттого лет, наверное, до двенадцати каждую зиму готовился к летней экспедиции. В моих детских мешках было все: от спичек и соли до немецкого штык-ножа и поломанной ракетницы. Все это тщательно пряталось и перепрятывалось от несознательных взрослых, которые бессовестно наносили моим припасам ощутимые потравы: то соль заберут, то умыкнут спички, то зачем-то реквизируют двенадцатилистовую тетрадку в косую линейку, предназначенную для дневниковых записей. Все это было…

Шуршит галькой спокойное и почти всегда теплое Адриатическое море, над недалекими горами со стороны Скадарского озера медленно собираются темные от переполняющей их влаги облака, я сижу у старого серого итальянского дзота, на набережной маленького уютного черногорского городка и пью капучино. Хорошо взбитая молочная шапка никак не желает опадать, терпкой, вкусной жидкости уже не осталось, а коричневатая, как будто подрумяненная на огне, пенка все еще заполняет широкую чашку, по-белорусски такая посудина называется филижанка. Сбылась моя мечта: вожделенные море и горы рядом, если захочу, я могу здесь жить, но простуженная скитаниями душа почему-то все чаще и чаще стремится к моему началу с поэтическим и таинственным названием Реста.

Нечаянный свидетель

Бойтесь чужих тайн, ибо «многие познания рождают многие печали». Алексей всегда исповедовал эту древнюю истину, но в жизни все получалось как-то наоборот. И вот к своим сорока пяти, изрядно помотавшись по белу свету, послужив и правым и левым, он устал, плюнул на все и приехал сюда лечить соснами и озерным ветром свою истосковавшуюся по тишине беспутную душу. День, отплясав солнечными бликами в мелкой волне, укатил в сторону Польши, сумерки, сгустив небесную синь до цвета вскипающей сирени, не без оснований пророчили тихую теплую ночь с живым блеском тысяч восхищенно мерцающих звездных глаз.

Он сидел на выбеленном солнцем и озерными чайками дощатом помосте, далеко уходившем по мелководью от поросшего корабельными соснами песчаного берега. В недалеких камышах о чем-то еле слышно шептались между собой ветер и вода. Уставшие от вездесущего солнца, гонявшего их весь день друг от друга, они, наконец, забились в прибрежные камыши, слились воедино и все никак не могли надышаться, нашептаться, нанежиться друг другом. Алексей, прислушиваясь к

этому трепетному шепоту, вдруг поймал себя на мысли, что он по-мальчишески завидует дорвавшимся друг до друга стихиям. «Дошел ты, братец, — начал он свой долгий изнуряющий монолог, который умеют плести только люди, привыкшие больше говорить сами с собой, чем делиться сокровенным с окружающими, — еще немножко и до ритуального секса с нимфой озера дойдешь. Нет, пора заканчивать это отшельничество, бросать свою, признайся, уже порядком надоевшую сторожку и возвращаться в дом отдыха. Ну а что там хорошего? Шум, беготня, музыка. Очередная одноночка с какой-нибудь юной шкодницей, не отягощенной моральными предрассудками. Поразительно, ведь скажи им — не поверят, но иной раз просто диву даешься, с каким остервенением нынешние девицы претворяют в жизнь большевистские принципы свободной любви. Теория товарища Коллонтай о «стакане выпитой воды» на излете века нашла-таки своих горячих последовательниц. Интересно, кто вбивает в их прелестные юные головки мысль о том, что танцы или посиделки в каком-нибудь кабачке обязательно должны заканчиваться постелью. Старик, перестань, мучаешь себя глупыми вопросами, ты что — деваха? В следующий раз при случае возьми да и спроси…»

Сзади на берегу послышался детский плач. «Бред какой-то: то нимфы, то торопящиеся возмужать юницы, и вот тебе логический итог — слуховые глюки. Откуда здесь детям взяться? Сюда же можно только по озеру или через болото». Ребенок перестал плакать и что-то обиженно говорил, слова, обесцвеченные расстоянием и искаженные водой, разобрать было трудно. «Вставай, приятель, — отдал себе приказ Алексей, — кончилось

твое затворничество и, кстати, без твоих волевых усилий. Иди, там дети плачут, а с маленькими детьми, как правило, молодые мамы, не одни же они по ночам в лесах шастают. Кобель ты, кобель!» Он пружинисто встал и быстро зашагал к берегу. В камышах притихли, только доски настила заскрипели отрывисто и жалобно, так тревожно кричат озерные чайки.

Голоса стихли. Алексей, чтобы не пугать людей, шел нарочито громко, насвистывая какую-то песенку. У кромки песчаного обрыва, в который и упирался помост, стояли две прижавшиеся друг к другу фигуры.

— Дядя, ты, случайно, не бандит? — оттолкнув пытавшуюся удержать ее руку, шагнула ему навстречу и звонким от испуга голосом спросила девчушка лет пятишести. — Ты ведь маме ничего плохого не сделаешь?

Алексею показалось, что те, в камышах, тихонько захихикали. По правде сказать, он, закоренелый холостяк, всегда робел, общаясь с детьми. На их наивные вопросы старался отвечать серьезно и честно, внутренне сжимаясь от высокой степени ответственности, полагая, что слово, сказанное им, эти крошки пронесут через всю свою жизнь. Дети это понимали и считали его за своего.

— Дядя, ты что, немой?

— Нет, детка, я просто онемевший…

— От нас с мамой?

— В какой-то степени...

— Дарья, прекрати, дядя невесть что о тебе подумает. Вы уж ее извините, мы так испугались, когда до меня дошло, что мы заблудились, — быстро, слегка задыхаясь от волнения, заговорила женщина среднего роста, в облегающих светлых брюках и легкой, завязанной на животе рубашке.

— Как вы сюда попали?

— Как, как?.. Лесом, — ответила с обидой Дарья, — хоть ты и не разбойник, но ведешь себя непорядочно. Ты что, разве не видишь, мы очень устали и есть хочется, — но, как бы спохватившись, сменила гнев на милость, — хотя ты же не знаешь, что ягодки мы пошли собирать сразу после завтрака.

— Несносная ты девчонка, — извиняющимся тоном одернула ее мать.

— Сносная, только очень голодная…

— Простите меня, юная леди, я действительно веду себя непотребным образом, имею честь представиться — Алексей Мядель.

— Дарья Лабудь, для вас просто Даша, — и она протянула ему руку. — Я думаю, что мы с тобой подружимся. А тебе нравится моя мама? Ее тоже Дарья зовут…

— Я вас очень прошу, не обращайте на нее внимания, несносный ребенок переутомился…

— Все будет хорошо, прошу за мной, — и Алексей зашагал по еле заметной тропинке вдоль берега.

Поднявшись на высокий бугор, они уперлись в приземистый, срубленный из толстых бревен домик с большой открытой верандой, нависающей над озером.

— Вот, Дарья, и твои апартаменты. Постойте минуточку, я только затеплю лампу.

Едва за Алексеем закрылась дверь, как маленькая Даша уцепилась в руку Даши большой и потащила ее на веранду.

— Мамочка, он тебе нравится?

— Даша, прекрати дурачиться, — с опаской косясь на избушку, прошептала женщина.

— Ой, я так и знала! — Дарья обняла вконец смутившуюся мать.

— Доча, будь серьезнее, смотри, какое красивое озеро…

— Какое озеро? Темень там одна. Зубы мне заговариваешь. Я ведь по носу твоему вижу…

Окна избушки наполнились золотистым дрожащим светом, дверь распахнулась, и Алексей пригласил их в дом. Внутри царил идеальный порядок. Большую часть комнаты занимала грубка с лежанкой, справа от нее стояла широкая деревянная кровать, застланная пестрым ватным одеялом, слева вдоль стены тянулась лавка, к которой был придвинут небольшой обеденный стол, заваленный книгами и бумагами, у широкого окна по центру, отбрасывая нелепую, разлапистую тень, торчал неуклюжий мольберт.

— Ну, вот здесь и заночуете, — сказал Алексей, прикручивая фитиль большой старинной с широким абажуром лампы, висевшей на вбитом в потолок крюке. Закончив возиться со светом, он обернулся к гостьям. Перед ним стояла странная парочка в перемазанной болотной грязью одежде со смешными опухшими от комариных укусов лицами.

— Алексей, почему вы на нас так смотрите? — и, взглянув на дочь, вскрикнула: — Господи, Дашка! Ужас! Где у вас зеркало?

— Только на улице возле умывальника. Да не волнуйтесь вы так, это же пустяки. Мы с Дарьей все уладим, правда?

— Правда-то правда. Ну и рожи у нас с тобой! Хочешь я тебе, мамочка, зеркало принесу?

— Ну, дрянь, погоди — только доберемся до дому!

— Дорогие гости, — видя, что дело может принять серьезный оборот, вмешался в их перепалку Алексей, — давайте не будем ссориться на ночь, это весьма

скверная примета. А лица у вас, я хочу сказать, прекрасные, немножко, правда, поклеванные болотными тварями, но к исходу завтрашнего дня все будет нормально.

— Спасибо, действительно, свалились на вашу голову…

— Давайте, Даша, поступим так, — обратился он к старшей, — вы спускаетесь к озеру, купаетесь, переодеваетесь, я вам что-нибудь сейчас подберу, и возвращаетесь обратно, а я пока приготовлю ужин и попытаюсь по радио связаться с домом отдыха, вы ведь оттуда?

— Да. Может, вы нам покажете тропинку, мы и пойдем потихоньку.

— Я, мама, никуда отсюда не пойду, я маленькая и очень усталая.

— Ребенок действительно прав, не хочу вас пугать, но через болото здесь никто не ходит, даже местные. Ума не приложу, как вам удалось, да еще с ребенком, продраться через топь…

— Что ты ее пугаешь, — перебила его маленькая Дарья, — она и так всю дорогу дрожала. Все, пошли, мама, купаться, а то стоим, как замухрышки, перед незнакомым мужчиной.

Все рассмеялись. «А мама-то красавица, даже комары не помеха», — отметил про себя Алексей, подавая полотенца, мыло и какие-то, невесть как сюда попавшие, женские вещи.

— Да у вас здесь настоящие раритеты, — прикидывая на себе отделанную порыжевшими от времени кружевами блузку из тонкого выбеленного льна, удивленно сказала Дарья-большая.

— Вы уж не обессудьте, чем богаты — тем и рады.

— Да нет, все это как-то очень мило, неожиданно, я бы даже сказала, романтично…

— Алексей, а мне этого старья не надо, — перебила мать Дарья-маленькая, — ты мне свою футболку дай, будет и платье модное, и ночнушка, как в кино, где главные героини всегда носят рубашки своих любимников…

— Ох, горе ты мое горе любимниковое, пошли, уже еле языком ворочаешь.

Проводив гостей по крутой лестнице до воды, оставив им фонарь с опереточным названием «летучая мышь», он занялся ужином. Разогрел жаркое, и теплый неподвижный воздух июльской ночи наполнился аппетитным ароматом, чайник закипал, посапывая носиком, над принесенной из домика лампой радостно закружился мотыльковый хоровод.

Алексей давно заметил, что в жизни ничего не происходит случайно, каждое событие неизбежно имеет свои, длящиеся последствия. Он знал, вернее, чувствовал, что эта ночь будет необычной, что Дарья завелась, как и он, еще там, на берегу, что они оба, как воры, ждут одного — скорей бы уснул ребенок. Почему так получается, еще час назад он осуждал молодежь за поспешное ныряние в постель, а сейчас сам едва унимал сладостный озноб. Кто руководит его разумом и волей, пропуская сотни весьма эффектных и красивых женщин мимо, и вдруг тормозит всякий рационализм и логику, заставляя замкнуться на одной, появившейся мельком и порой ничем не выделяющейся женщины? Сердце стучало во всем теле.

«Что-то они там долго, все остынет», — подумал он и шагнул из золотистого круга света в растворившую его темноту. Опершись о перила, он заглянул вниз, в неярком пятне «летучей мыши» стояли, вытираясь, две голые Дарьи.

— Какая ты у меня красивая, — вполголоса говорила маленькая, — мужики, наверное, слепые пошли. Эх, скорей бы вырасти, я бы им показала, как надо Дашеньку любить!

— Глупый ты ребенок, вытирай хорошенько голову.

— Послушай, мама, я уже устала жить без папы, скоро в школу, а там, говорят, у всех детей про папу и маму спрашивают. Что же мне говорить, что вместо папы у меня деда?

— Дашенька, давай сегодня не будем заводить эти разговоры, у нас с тобой был уговор?

— Был, — готовая захныкать, ответила девочка, — но только он был до сегодняшнего дня. Мамуля, миленькая, он такой хороший — и сильный, и умный, и тебе нравится, и мне очень. Мамуль, ну разреши мне один только раз выбрать себе папу, а то у тебя это както плохо получается. Мам, ну может, мне повезет, и мы все вместе будем счастливы? — вдруг как бы спохватившись, она быстро надела Алексееву футболку, доходившую ей чуть ли не до пят, крутанулась, погасила подол, — класс, я побегу, а то он еще чего доброго уснет, — и зашлепала босыми ножками по вылизанным дождем и солнцем деревянным ступеням.

— Дарья, прошу тебя, без глупостей, — прошептала вслед совсем обескураженная мать.

Алексей отпрянул от перил, в душе кипели и душили друг друга противоречивые чувства: ему было стыдно за подслушанный разговор, нежная жалость к маленькой Дашке готова была превратиться в слезу, красивая обнаженная фигура ее матери заставляла вскипать кровь, закоренелые холостяцкие привычки, почуяв явную опасность, наперебой загалдели о своей незаменимости. «Вот это ты влип, братец! Теперь держись!»

Поужинали быстро и на удивление спокойно. Алексей с Дарьей старались не встречаться взглядами, осоловевшая от усталости и сытной еды Дашка задремала прямо за столом. Когда Алексей переносил ее на кровать, нежно его обняла и, еле разлепляя опухшие губенки, прошептала: «Ты нас не отпускай, мы твое счастье», — и, чмокнув в небритую щеку, заснула, едва коснувшись подушки.

Взрослая Дарья убирала со стола, одетая в идущие ей старинные, может, еще прошлого века домотканые наряды, она была похожа на своих прабабок, гордых и неприступных, некогда будораживших кровь и воображение многих знатных мужей хиреющей Европы. Алексей смотрел на молодую женщину, и первые порывы наброситься, впиться в ее наполненные ожиданием губы, насладиться ее бессилием и покорностью, задохнуться от собственной силы и неутомимости, куда-то постепенно уходили. Им на смену пришло легкое дыхание не знакомой ему пока любви. Казалось, тысячу лет они живут вместе в этой избушке, и нет никого и ничего, кроме них, в этом подлунном мире.

Они проговорили всю ночь, крепко прижавшись друг к другу, каждый спешил побыстрее стать нечаянным свидетелем их прошлых жизней. На веранде стало прохладно, и уже выбившиеся из сил, укутанные большим суконным одеялом, они молча смотрели на рождающееся в легком тумане оранжевое солнце их первого дня.

Внизу, в прибрежных камышах, зашумел легкий ветерок, мелкая рябь заплясала по озеру. Вода и ветер, разбегаясь в разные стороны, с доброй завистью глядели на веранду. Алексей и Дарья, уронив головы на плечо друг другу, безмятежно спали.

Сенокос

Прежде чем стать сеном, трава должна пропитаться потом, первые капли которого брызнут со лбов разгоряченных косцов, упадут и останутся незаметными, смешавшись с буйной росой, еще сизой от утренней прохлады. Потом, когда солнце войдет в силу и мертвые стебли, лежащие сверху, пожухнут, а нижние от избытка влаги и тепла станут подпревать, на луговину с песнями, пересудами и смехом придут бабы и девки и тоже уронят свои соленые капельки на былые соцветия и буйство прошлой растительной жизни. И приходить они сюда будут несколько дней к ряду, а когда травинки начнут набирать ломкость, их станут на ночь сгребать в небольшие копешки, а утром, после того как пропадет роса, вновь растаскивать и расстилать ровным ковром по колкой щетине срезанной травы. И снова пот будет падать и падать, становясь одним целым с бывшей травой. Иногда утром одна или две копны окажутся примятыми и разложенными. Женщины постарше неодобрительно покачают головами, на всякий случай припомнив, где был и во сколько вчера вернулся благоверный. Молодицы украдкой прыснут в кулак, внима-

тельно и с любопытством поглядывая друг на дружку, пытаясь определить, кто смутится более всего. А будущее сено, сохранив обет молчания, уже впитало в себя сладкий пот любви и терпкую тягучесть семени.

Потом будет день итога. На луг придет почти весь поселок с вилами, граблями, восьмеркой свернутыми веревками, широкими двуколыми колясками, невыпряженные кони будут с жадностью скубсти молодую сочную траву, уже готовое сено, сгуртованное в равные крупные скирды будет горбатиться, словно спины каких-то доисторических живел, так и не доползших до спасительной реки. Потом кто-то, на кого укажет сход, возьмет в руки грабли у самой гребенки, а второй выборщик, почему-то почти всегда это была женщина, опустив платок на самые глаза, отвернется к лесу. И первый, указуя, словно гигантской указкой, на одну из копенок громко выкрикнет: «Кому?» — «Галагаю!» — словно эхо, протяжно и певуче ответит баба. «Кому?» — «Бардиловскому!»; «Кому?» — «Магазинному!»; «Кому?» — «Катерлихе!»; «Кому?» — «Тихоновичу!»; «Кому?» — «Казаку!» И мы, детвора, срывались и летели к той копне, на которую только что пал выбор. Облепляли ее и дожидались деда Никодима и бабу Еву, которые, вырвав из стожка по клоку сена, принимались его рассматривать, мять, нюхать с таким заинтересованным и серьезным видом, что создавалось впечатление, будто это им, а не Лыске заготовили корм на зиму. Оставшись довольными, что бывало очень редко, старшие принимали решение, досушивать ли стожок или сразу на сеновал. К нашему счастью, бабушкой принимался правильный вердикт: «У пуню!» И мы с радостными криками начинали носиться кру-

гами, как дорвавшиеся до свободы щенки. Команда «у пуню», то бишь, в сарай, означала конец ночевкам в душной избе под чутким надзором взрослых и переход — о радость! — на бесконтрольную волю сеновала. Помогать метать сено на воз разрешалось только старшим внукам. Вилы — нешуточный инструмент, неизменное орудие всех неудачных белорусских бунтов и восстаний, бунтов было много, а лучшей доли как-то и до сих пор особо не получилось.

Большущая четырехкогтистая стальная лапа была глубоко запрятана в пахучем ворохе и, как нам казалось, все норовила дотянуться до наших голых и загорелых животов. Кто помладше, помогали сено утаптывать и растаскивать по возу. Воз получался огромный, и опять обильными ручьями на сено струился пот. Чтобы, не дай бог, вся эта рукотворная травяная гора не расползлась или не опрокинулась в какой-нибудь рытвине, на спластованное и тщательно утрамбованное сено сверху клали специально приготовленную толстую жердь, похожую на длинную оглоблю, называлась она «рубель», наверное, оттого, что на концах имела специально вырубленные выемки. Мужики, правда, часто смеялись, мол, белорусы такие богатые, что даже сено русским рублем прижимают. Однако рублей у моих односельчан тогда особо и не водилось, заменяли их трудодни и палочки в блокноте табельщицы, так что жить приходилось своим трудом. «Рубель» поднимали на воз, размещали посередине, в выемки пропускались веревки, крепящиеся к передку и задку возка, таким нехитрым образом сенная пирамида, получив еще одну порцию пота, становилась устойчивой и вполне транспортабельной. Потом была разгрузка сена во дворе и его

перетаскивание в специально для этого оборудованный над погребом сарай, и снова на сухие стебли обильно капали крупные капли пота, капали и растворялись в этом шуршащем и пахучем море.

Но перед сеновалом была ни с чем не сравненная езда на этой, по нашим мальчишечьим меркам, громадине! Мы сидели высоко, внизу, помахивая хвостом, зная куда, не спеша шла наша лошадка. Старший из нас, Серега, гордо держал совершенно не нужные вожжи, позади за возом шли довольные сеном и радостью внуков бабушка с дедом. Невидимая древняя магия работы незаметно перетекала от старых к нам, молодым, а вместе с ней в наши юные души переселялась и некая иная неведомая древняя сила, без которой трудно жить и страшно умирать. Сухая, пахнущая будущей жизнью трава поднимала нас высоко над землей, и мы летели, мы парили над окрестом под мерный скрип невидимых колес.

В моей жизни это были первые полеты, как высоко я тогда летал! Ныне, боюсь, уже ни один самый современный лайнер не сможет поднять меня на этакие высоты.

Крест Ефросиньи

Дорога была тяжелой и оттого казалась бесконечной. Нудно с утра до вечера скрипели большие колеса кибитки, которую едва тащили по бескрайней каменистой степи отупевшие от усталости волы. Медленно плелись животные, медленно и безостановочно уходила из нее жизнь.

— Ей, Господи, Господи! — молилась беззвучно, одетая в простой монашеский подрясник седая игуменья со строгим, словно вырезанным из старинного янтаря, лицом. — Сподоби дожить до светлого места Киева! Не дай представиться средь расхристанной ветрами и выпаленной солнцем пустыни, Господи!

Когда невидимая волна беспомощности заполняла тело и чье-то холодное дыхание готово было задуть слабый огонек едва мерцающего сознания, где-то далеко нечаянно возникал ее собственный голос, поющий: «И воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и бежат от лица Его ненавидящие Его…», и коварная слабость отступала. Монахиня непослушными руками с большим трудом подтаскивала к высохшим губам лежащий на груди странной формы крест и с благодарностью целовала его.

Одержав очередную свою победу, Ефросинья все же удостоилась просимой награды.

— Матушка, матушка, — радостно кричали наперебой ее спутницы — Святы город! Святы город! Ужо над куполами кресты блищат! Доехали, матушка! Святы город!

— Хвала те, Боже! — прошептала игуменья, и белорусская ее душа отошла к Богу.

Николай Платонович громко всхрапнул и оттого проснулся. Расплющил глаза, поднял опухшее от усталости и пьянки лицо, и с сиплым криком вскочил со стула. Сквозь темное оконное стекло на него смотрело строгое, словно вырезанное из желтого камня, лицо незнакомой старухи, укутанной во все черное. К груди она обеими руками прижимала необычной формы крест.

Правая рука чекиста привычно зашарила у пояса в поисках оружия.

«Да вот же он, пистолет, прямо перед тобой на столе лежит!» — проскрипела в голове мысль, и уполномоченный, чуть опустив глаза, уже было собрался схватить трофейный «Вальтер», но вместо этого выматерился и поднял опрокинутый стул. — Идиот! Да нет же никакой старухи и быть не может. На дворе глухая ночь прифронтового города. Окно кабинета на втором этаже наглухо закрыто снаружи светомаскировкой, а в стекле отражается этот самый необычной формы крест, лежащий на твоем собственном рабочем столе.

— Однако и сны тебе стали сниться! — пробурчал рассерженно офицер и с жадностью припал к широкому горлышку графина. Вода была дрянной, теплой, еще позавчерашней, с уже ощутимым вкусом застойного болота.

— Какая гадость, не хватало какую-нибудь кишечную бациллу подхватить! — громко рыгнув, подумал майор, опуская графин на стол. — Обсеришься, утром московский начальник в членовредители запишет, а там и до расстрельной стенки рукой подать.

Он глянул на крест, и перед глазами в мельчайших подробностях почему-то возникла картина расстрела троих красноармейцев в жиденьком подлеске недалеко от Белынич.

Кое-как обмундированные солдатики скорее всего чем-то отравились и время от времени, как сговорившись, выскакивали из обоза и под смех товарищей и крики командиров летели в ближайшие кусты. Бедняги давно мучились неприятной хворью, так что в конце концов выбились из сил и едва плелись в самом конце своего каравана, груженого каким-то казенным добром, при этом с завидной постоянностью продолжая совершать отлучки в подлесок. Благо, обоз едва плелся, что и спасало поносников от безвозвратного отставания от своих.

Николай Платонович возвращался из-под Минска, который уже почти оставили войска, а на второй день войны и партийное руководство республики. Об этом никто вслух не говорил, но все знали, страшились и ожидали худшего. Шел уже пятый день войны, а разобраться в том, что вокруг творится и кто кем командует, все никак не могли. И парторганы, и ставка перебрались в Могилев и готовились при первом же удобном случае рвануть дальше на восток. Хотя многие минские начальники уже проделали этот путь в первый день войны. Как только первые бомбы упали на город и самолеты, отбомбив, улетели, самые шустрые и верные партии ответработники, собрав наскоро скарб и домо-

чадцев, плюхнулись в свои легковушки и, прихватив побольше бензина, ломанули на Москву. Только под Одинцово перехватили большую часть их машин и, обвинив в пораженчестве и паникерстве, развернули обратно, разрешив, правда, выгрузить пожитки с детками и женами. В прифронтовую республику из беглецов вернулись далеко не все. Николай Платонович целую ночь торчал на московской дороге под Оршей в отлове этих шустряков и направлял их в Могилев, на Минск было ехать уже опасно.

Двадцать второго утром всполошился весь их дом. В городе было тихо, народ спал, дворники только начинали шуршать во дворах своими метлами, а в квартирах чекистов уже вовсю заливались телефоны, хлопали двери, и ничего не понимающие сотрудники опрометью бежали в областное управление, благо, оно размещалось недалеко от жилья. Слово «война» вслух первое время произносить никто не отваживался. Начальство толком объяснить ничего не могло и звонило в Минск. Минск, который уже вовсю бомбили, молчал и звонил в Москву. Москва не верила, материлась и грозилась самыми страшными карами за паникерство. Первые дни все ведомство находилось в каком-то леденящем душу ступоре. Нет, все суетились, куда-то бегали, что-то жгли, кого-то допрашивали, кого-то расстреливали, рутинная жизнь ведомства шла сама собой. Ступор сидел внутри каждого, как будто тебя заморозили изнутри и за мягкой теплой кожей ощетинился миллионами острых иголок самый настоящий иней, и не было никаких сил и умения бороться с одервенением мозгов и тела. Майор так с того утра толком и не спал. Мечтал, что после отлова удравшего из Минска начальства хоть пару ча-

сов поспит, но руководство решило по-другому. Прямо там, на утреннем шоссе у Орши, ему вручили конверт с приказом реквизировать любую подходящую машину, создать запас горючего и гнать прямиком в Минск, там, в районе Червеня, разыскать такую-то воинскую часть и, забрав специальный груз и сопровождающего его полковника из Москвы, срочно доставить все в Могилев. Часть он, хоть и с огромными трудностями, нашел, нашел на свою голову и полковника. Тот, кроме как орать на людей и поминутно хвататься за пистолет, ничего другого, казалось, и не умел. Майор сперва на все начальственные крики реагировал и бросался исполнять дурацкие распоряжения, но, побывав под парочкой авианалетов, а затем поучаствовав в бою с немецкими диверсантами, которые пытались захватить и взорвать один из небольших мостов через какую-то речушку, он увидел подлинную сущность московской гниды, дрожавшей только за собственную шкуру, махнул на полковника рукой и вовсе перестал реагировать на его истеричные распоряжения.

Спать хотелось страшно. И он ловил любую возможность хоть к чему-то приткнуть голову, и если это удавалось, то непроницаемая темнота моментально гасила окружающий мир и погружала перегревшийся мозг в блаженную пустоту сна. Машина их ползла еле-еле, а из-за встречных маршевых колонн никак не могла обогнать растянувшийся почти по всей дороге хозяйственный обоз и беженцев. Московского начальника это выводило из себя, и он, как переспевший помидор соком, наливался гневом и начинал орать уже осипшим от крика голосом по всякому самому пустяковому поводу.

Доставалось всем: и спящему майору, и отупевшему от усталости шоферу, и неступающим их машине дорогу пехотинцам, спешащим навстречу глухо гудящему сзади фронту. Полковник не столько куда-то торопился, сколько, скорее всего, боялся, ибо знал: чем дольше они мешкали на дороге и теряли время, тем больше было риска снова попасться на глаза фашистским летчикам, гонявшимся в те дни за штабными машинами и их пассажирами, словно коршуны за куропатками.

Видя, что на его угрозы и крики никто не обращает внимания, полковник переключился на обозников. Непонятно, чем они ему не понравились.

— Сволочи, членовредители! Неужели командиры не видят? Смотри, смотри, майор, — тряс за плечо полковник, — опять побежали! Нет, это маскировка! Побегают, побегают и отстанут, в надежде, что немец сюда когда-нибудь придет...

Наконец пехота прошла, но езды не прибавилось. Навстречу густо катила техника. Полковник не выдержал, выскочил из легковушки и тормознул первую попавшуюся машину. Из кабины нехотя вылез капитан с петлицами и шевроном НКВД, выслушав москвича, он кликнул из кузова двоих солдат с диковинными по тем временам для войск автоматами, и все, вместе с полковником, побежали в подлесок. Не успел Николай Платонович придти в себя ото сна, как услышал недалекие автоматные очереди.

— Усё-таки порешил он этих бедалаг, — глубоко затягиваясь папиросой, произнес с сожалением пожилой водитель.

— Не понял я тебя, каких бедолаг? — разминая затекшее от неудобного спанья тело, отозвался майор, поглядывая в сторону недавней стрельбы.

— Да вон абозникоу, што увесь час в кусты бегали.

— Твою мать! — майор побежал вперед.

Солдаты лежали в небольшой лощинке, перед ними на земле валялись их враз ставшие несуразными винтовки. Несчастным не дали ни штаны подтянуть, ни оправдания сказать в свою защиту. Немое удивление застыло на их остывающих лицах, а правая рука каждого еще сжимала только что сорванные листья, заменяющие в таком случае бумагу. На сером лишайнике неестественно и пугающе-гадливо светились незагоревшие, обезображенные смертью части тела. Не ведающие добра и зла крупные лесные муравьи, уже вовсю деловито сновали по белой коже, большие болотные комары, пользуясь моментом, слетались на нечаянную поживу, спешили всосать в себя еще пока на загустевшую человеческую кровь.

— Что, проспал, майор, акцию?! — весело произнес полковник, засовывая в кобуру пистолет. — Ты это, капитан, собери их документы, — кивнул он в сторону убитых, — и потом, как положено, доложи рапортом по команде, не забудь только указать, что акция проведена по личному указанию полковника центрального аппарата НКВД Золотопузова Мэ. Кэ. Все, пошли, пошли, майор, некогда здесь торчать. Следующий раз спать меньше будешь, а то так за всю войну ни одного врага не уничтожишь и внукам не о чем рассказать будет.

Николай Платонович плелся к машине, словно побитая собака. Дико вот так, ни с того ни с сего, взять и расстрелять ни в чем не повинных, еще совсем сопливых мальчишек.

С какого ляда все это лезло сейчас ему в голову, понять было трудно, да и некогда. Майор глянул на

часы, — без двадцати четыре утра. Уже пора собираться. Он взял со стола крест, из-за которого в последнее время было столько поднято шума. Деревяшка деревяшкой, с ободранными золотыми вставками, поковырянными ножом эмалями, изображающими каких-то святых, со стекляшками вместо драгоценных камней, только тонкая нитка уже пожелтевшего жемчуга осталась на этой реликвии настоящей. Все это следовало из прилагаемого к кресту акта приемки и сдачи материальных ценностей. Хотя какие это ценности? Акт приемки подписал в двадцать девятом году матерый враг советской власти Вацлав Ластовский, тогда откопавшейся в Государственном республиканском музее. Этот змей мог любую пакость сотворить, не говоря уже о подмене креста, благо, говорят, иезуиты еще в восемнадцатом веке сделали точную его копию и пытались присвоить себе святыню. Да... дела!

Повертел странную деревяшку в руках. «Точно все с ума посходили, национальная реликвия! Подумаешь, какой-то княжне-монашке когда-то принадлежала эта штука. Ну и что с того, где они сегодня, и князья эти, и монахи? Чушь какая-то! Чушь чушью, а вот гляди же ты из-за нее фактически гонят в Москву. И придурок этот Золотопузый тоже из-за этого куска старого дерева в Минск поперся. В первопрестольной, видишь ли, и знать не знали, что эту ерундовину одиннадцать лет как перевезли из Минска в Могилев. Это же надо — неделю разбирался, что да где? А тут на тебе, бах, и война началась. Не повезло мужику, еще неведомо, как до столицы доберется и доберется ли вовсе. Что же это ты над собой раскаркался! — в сердцах чертыхнулся майор. — Полковника скорее всего одного не пошлют, ему не то что

реликвии, рубль за пивом сбегать доверить нельзя, потеряет. Вот напасть так напасть, скорее всего тебе и придется ехать с ним вместе. Может, это и к лучшему, война только началась, а в Москве воевать — оно и почетнее, и надежнее будет, ее-то сдавать врагу, не бойся, никто не будет. Нет, у тебя точно что-то с головой!» — рассуждения Николая Платоновича прервал телефонный звонок.

— Да, слушаю вас. Я, так точно! Куда? Есть! Сейчас буду! — чекист завернул крест в первое, что попалось под руку, — в промасленное вафельное полотенце, которым он вчера вечером чистил свой трофейный пистолет, и сунул сверток в большой холщевый баул для перевозки денег и ценных документов. Вздохнул, помассировал перед тусклым зеркалом еще не отошедшее ото сна лицо и вышел из кабинета. Машина со знакомым пожилым водителем, которого он вместе с техникой реквизировал когда-то под Оршей у ответственного работника потребкооперации, стояла у подъезда ажурного здания бывшего народного банка, а ныне горкома партии.

— Ну, вот и хорошо, что с тобой поедем, — здороваясь, произнес майор, устраиваясь на переднем сиденье, — есть шансы, что и доедем. Тебе же не привыкать в Москву мотаться…

— Да хватит вам, товарищ майор, все подкалывать! Я мотаюсь ровно туды, куды меня начальства спасылаяць. А вы часом не ведаете, этот Золотожопенко с нами попретца ай не?

— Ох, брат, договоришься ты когда-нибудь, договоришься!

— А што я такога сказау? — поперхнулся дымом водитель.

— Много чего, поехали, да смотри не брякни при полковнике про Золотожопова. Злотопузов он, запомни, Зо-ло-то-пу-зов.

— Да мне похрену. Живоед ён. Может, майор, ты угаворишь своих камандироу, хай бы меня тут пакинули, семья ж у меня под Минском, як они там без меня, баба тежарная, месяца праз два ражаць.

— Замолкни, мужик! Какие роды? Ты вдумайся, что несешь! Сам добровольно под немцем собираешься остаться. Ты что, не знаешь, что за такие разговоры вмиг стенку можно по законам военного времени схлопотать?

— Да я што, я ж ничога! — стушевался водитель…

Утро было пасмурным и туманным, накрапывал мелкий дождик.

«Это хорошо, хоть стервятников этих не будет», — глядя на небо, с радостью подумал майор. До здания на площади добрались быстро. Захватив, как приказали, холщевый баул, он вошел в серое, казалось, приплюснутое низким небом здание. У часового уже дожидался сопровождающий. Поднявшись на второй этаж, Николай Платонович удивился ярко освещенным коридорам и снующим, невзирая на ранний час, людям.

— Подождите здесь, вас пригласят! — остановили его у двери с автоматчиками. Через минут десять разрешили пройти в большой кабинет, тускло освещенный.

Он вошел и оробел: у большого стола к нему спиной стояли люди. Сопровождающий громко сообщил, что майор госбезопасности такой-то прибыл для получения инструктажа, и легонько подтолкнул его вперед.

— Все свободны, прошу остаться товарищей Цанаву, Ефимова, Макарова и секретарей обкома. И, товарищи, просьба далеко не расходиться, минут через двадцать мы продолжим совещание.

Вождей республики Николаю Платоновичу так близко еще видеть не приходилось, разве что несколько раз встречался по служебным делам с главным чекистом Беларуси Лаврентием Цанавой, человеком злопамятным и мстительным.

— Здравствуйте, товарищ майор, — поздоровался с ним за руку первый секретарь ЦК компартии республики Пономаренко, — проходите к столу и покажите нам эту штуковину.

На негнущихся ногах, стараясь оставаться в тени и дышать носом, Николай Платонович, развернул замызганное полотенце и выложил крест княжны на край устланного картами стола.

— Майор, ты что, опупел? Тряпки чище в управлении не нашлось? — рявкнул над самым ухом Цанава.

— Вы не правы, Лаврентий Фомич, тряпка, да еще промасленная, меньше бросается в глаза, в такую ничего стоящего заворачивать не станут. Так вот он какой, этот крест! Это же надо — деревяшка, а древний символ Беларуси, много я о нем слышал, а в руках первый раз держу. Он-то и на святыню не похож.

— Если хозяин считает, что это какая-то святыня, значит, так оно и есть. Товарищ Сталин не ошибается! — с кавказским акцентом отозвался палач белорусского народа. — Разрешите, я тоже гляну на это ободранное чудо. Ты все же тряпку, майор, смени, а то ружейным маслом воняет. Мало ли кто там в Москве его в руках держать будет.

Не дожидаясь, пока все рассмотрят крест, Пономаренко, положив руку Николаю Платоновичу на плечо, проникновенно начал инструктаж.

— Вам, товарищ майор, партия и командование поручает очень важное и ответственное задание. В пер-

вых числах сего месяца по приграничным республикам была разослана секретная директива ЦК партии об изъятии и отправке в центр всех культовых и иных предметов, способствующих разжиганию среди несознательных граждан религиозного и националистического фанатизма, а также антисоветских настроений. Так вот этот музейный экспонат таким предметом и является, а поэтому должен быть в самое кратчайшее время доставлен в Москву. Задание настолько секретное, что о нем знаете только вы и мы, — он указал рукой на присутствующих. — И все. Для всех вы перевозите обычную почту и какие-то незначительные музейные ценности. Все, что необходимо, вам выдадут в установленном порядке. Крест этот пристройте где-нибудь среди своих носильных вещей. И главное, ни при каких обстоятельствах, — секретарь ЦК поднял крест над собой, как будто собрался им благословить стоявших рядом людей, — он не должен попасть в чужие руки. В первую очередь фашистов и их прихлебателей из националистического белорусского подполья. Они спят и видят этот крест у себя. Только для нас, атеистов, это старинная деревяшка — музейная рухлядь, а для них это символ независимости и могущества их мифического буржуазного государства. Символ, как они считают, воскрешения былой мощи Литовского княжества. Так что попади крест к националистам, он может наделать столько бед, что и представить себе страшно. Есть поверье, что в кресте этом сокрыта некая мистическая сила… — голос секретаря осекся на полуслове, смутившись, он отошел к столу с зеленой настольной лампой и сделал несколько глотков уже остывшего чая.

— Смотри, майор, — почти на самое ухо громко прошептал Цанава, — не довезешь крест до Москвы,

из-под земли и тебя, и родню твою найду. Задание самого Сталина выполняешь, понял?

— Понял, — едва выдавил из себя офицер.

— А раз понял, — уже во весь голос ревел нарком, — забирай это говно и вперед! На Лубянке тебя ждут, да смотри не забудь расписку взять, и чего бы тебе это ни стоило, расписку эту передашь лично мне. Поедешь без полковника, он при мне останется. Все!

Через три дня груз был доставлен по назначению, о чем была выдана соответствующая расписка и сделана запись в журнале поступающих ценностей. Передал ли чекист расписку своему высокому начальнику, неизвестно, нет даже сведений, вернулся ли он в уже почти окруженный Могилев. Очевидцы, однако, рассказывали, что видели накануне прихода в город немцев водителя той легковушки. Мужчина искал отправленного в ополчение однорукого директора могилевского госмузея, чтобы отдать ему акты о сдаче древних книг и старинных монет, вывезенных вместе с крестом Ефросиньи Полоцкой в Москву.

— Товарищи, товарищи, прошу в следующий зал, который рассказывает нам о героической обороне города в июне-июле 1941 года. Эти дни — одни из самых таинственных страниц истории Могилева…

— А почему таинственных, — хрипловатым от курева голосом перебила экскурсовода высокая рыжеволосая девушка, одергивая немыслимо короткую юбку, предательски норовившую обнажить то немногое, что еще хоть как-то было скрыто от окружающих.

— Правильный вопрос. Героизм и тайна всегда находятся где-то рядом, — пропуская вперед старшеклас-

сников, продолжила молодящаяся музейная дама. — Так было и в те трагические дни. Именно тогда обрывается след знаменитого креста небесной покровительницы Беларуси Ефросиньи Полоцкой. Существует несколько версий этой почти детективной истории. Одни утверждают, что бесценное творение ювелира одиннадцатого века Лазаря Богши похитили немцы, и он затерялся в частных коллекциях на Западе. Другие уверены, что крест вывезли сотрудники компетентных органов на Восток. Третьи через Интерпол пытаются найти нашу святыню на Американском континенте в частных собраниях Морганов и Рокфеллеров…

Наконец, самые недисциплинированные и нелюбознательные перебрались в соседний зал. И в помещение впорхнула зыбкая музейная тишина.

— Бабуля, пойдем, пойдем быстрее, — тянула за руку худенькую, опрятно одетую старушку девчонка лет восьми, — ты что, разве не слышала, тетенька там про крест нашей святой говорила.

— Успокойся, детка, всюду мы с тобою успеем, — отвечала ей бабушка, внимательно разглядывая стену между неширокими сводчатыми окнами. — Давай-ка, внученька, пока никого нет, встанем на колени и тихонько помолимся святой Ефросинье о благополучии нашего дома. Вот тут, между этими окнами, и выставили тогда в музее святой ее крест. Меня сюда моя бабушка молиться водила. Народу в иные дни собиралось ровно как в храме. У креста чудеса свершались, сама видела.

Старушка опустилась на колени перед простенком, осенила себя двуперстным крестным знамением и зашептала молитву. Малышка, не глядя на бабулю, в точности повторила ее действия. Детское личико,

серьезное и счастливое, казалось, светилось каким-то радостным неземным светом, губы шептали слова древней молитвы на забытом сегодня языке.

Были бы у музейных стен уши, они бы от удивления вздыбились на манер собачьих. И девочка, и ее бабушка разговаривали между собой и молились на великолепном белорусском языке, который сегодня почти напрочь забыт не только в восточном Могилеве, но и в Минске, и в оплоте белорусскости — Гродно.

Странные посетители быстро исполнили задуманное и, когда заслышалось приближение очередной экскурсионной группы, они, как ни в чем ни бывало, неспеша вышли прочь.

— Бабушка, а почему, в самом деле, крест найти не могут? — оглядываясь назад, негромко спросила девочка.

— Кто ж его знает, детка? Может, мы своей нерадивостью к земле, к своему языку, к Богу, к вере нашей старинной, прогневали святую, вот она и не являет нам чуда обретения святыни…

— Ну, мы же с тобой молимся и язык мы свой не потеряли.

— Как знать, мало нас еще, может, оттого голоса нашего на небе и не слышно…

Сцена

Говоря об актере, я имею в виду только исконное и единственное смысловое наполнение этого слова — театр. Вне его актера нет по определению. Мне возразят — а кино? В кино подлинного, исконного актера в чистом виде нет и никогда не было, лучшие киногерои пришли на отечественный экран с театральной сцены. Собственно, они из театра никуда и не уходили, для большинства из них кино служило и служит своеобразной халтурой, приносящей деньги и популярность. Вообще, на мой взгляд, кино — это искусство механики и трюков, в нем нет души. Отсюда и цена его измеряется ценой слезы на сцене и слезой на экране. Первая — горячая и горькая, вторая — холодная и пресная, потому что родилась в пипетке ассистента.

Рос я в обычной рабоче-крестьянской среде, где театру места попросту не было, вернее, сама основа театра — лицедейство, — конечно же, жила в повседневной сельской обыденности. В то время без магических действий и соответствующих заговоров-молитв не начинали ни одного более-менее значимо-

го дела. Не всегда творилось это прилюдно, но творилось и нами, детьми, виделось и впитывалось, благо, заслоняющих белый свет радио и телевизоров еще не было и остатки древних чудес доживали свой век в наших дворах, банях, лесах и пущах. Да что телевизоров, книг в сельских домах практически не было. И к шестидесятому году двадцатого века мечта барина и крепостника Некрасова о народном просвещении так и не осуществилась в моей маленькой деревеньке, расположенной всего в двадцати километрах от областного центра, и не переедь мои родители в Могилев, неизвестно, как бы сложилась моя судьба.

Театр сыграл в моей жизни, наверное, главную роль: не став актером, я все же стал человеком, сумевшим вырваться из приблатненного дворового окружения, куда я с головой окунулся по приезде в город.

После восьмого класса во мне произошла какая-то разительная перемена, мне стало не интересным бесцельно шататься по пыльным улицам и искать приключений на одно место. Мне вдруг захотелось чего-то необычного: по-детски наивного и по-взрослому необычного. Думаю, что все мы в той или иной мере, каждый в свое время, проходим через это. Можно это назвать испытанием улицей, можно и другими словами, смысл от этого мало в чем поменяется. Улица и городской двор, в обход стараний наших воспитателей и родителей, оставляет у каждого в жизни свою отметину. Тогда, в пятидесятые годы, все мы без исключения причисляли себя к дворовой шпане. Мы были детьми бабушек и двора, родителям было не до нас, они самозабвенно, на полном серьезе

строили коммунизм за нищенскую зарплату. Кто-то переболел своей «дворовостью», как корью, получил иммунитет и ушел в большой мир, а кто-то так в «пацанах» и остался, забосячился и пропал в мутных водах блатного мира. Где они сегодня, мои однодворцы Булочка, Псинка, Абдула, Филипчик, Тютюнник? Живы ли, какие их ветры гонят и греет ли кто добрым словом их озябшие души?

Не помню уже, как, но где-то в октябре 1968 года я попал в драмкружок нашего родного ДК железнодорожников, по-моему, пришел в библиотеку менять книгу и зашел в зрительный зал, где шла репетиция. Зашел на минуточку, а застрял на всю жизнь.

Проводником в таинственный мир сцены для меня стала Эсфирь Матвеевна Михайлова, заслуженная артистка РСФСР, прима нашего драматического театра, а по совместительству и руководитель нашего народного юношеского театра. Это сегодня примы и звезды за снисхождением к народу требуют предоплату. Да и какие они звезды! Звезды за деньги не светят. В те годы все было по-иному, тогда исповедовался принцип Евгения Михайловича Винокурова: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться». Вот нас и учили настоящие мастера, и учили не на «фабриках звезд», не в домах с прозрачными перегородками, а на провинциальных сценах. Фактически наш драматический коллектив был мастер-классом Эсфири Матвеевны. Я сегодня не знаю, многие ли из ее учеников стали профессиональными актерами, но в том, что десятки людей, как и я, обрели благодаря ей свой путь в жизни и непроходящую любовь к театру, я уверен. Боже упаси, меньше всего я бы хотел идеализировать свою «совковую» юность

и принижать нынешние ценности: в каждом огороде хватает и ягод, и сорняков.

Почти олимпийский свет рампы, таинственная тишина кулис, ни с чем не сравнимая легкая и летучая пыль «колосников». Кто хоть однажды это впустил в себя и пронес до седых волос, тот, без сомнения, был инициирован великой музой Мельпоменой и до конца своих дней останется посвященным в великие таинства служения Свету.

Увы, я не стал актером, но юношеская любовь к театру и почти мистический трепет перед сценой до сих пор живы во мне.

Мы играли новогодние детские утренники. По три представления в день, плюс еще выездные спектакли. Мы не роптали и были счастливы вместе с нашими маленькими и такими благодарными зрителями. На обед мы бегали в столовую в конце улицы Белинского, а ДК наш находился в самом ее начале, грим и костюмы снимать было некогда, поэтому средь бела дня по заснеженному тротуару ежедневно гоняла веселая и весьма экзотическая ватага вполне сказочных персонажей. Народ в изумлении останавливался, пропускал, дети узнавали и объясняли родителям, кто есть кто и чем заканчивается сказка. Одним словом, нас на «вокзале», так в просторечии назывался наш район, знали и любили.

После сказок мы и вся великая страна по имени Советский Союз, которую так бездарно профукали коммунисты, активно включились в подготовку к столетию со дня рождения величайшего из величайших, человечного из человечных — Владимира Ульянова по прозвищу Ленин. До конца сказки, в которой действительно жила страна, оставалось еще двадцать

долгих лет. Павликов Морозовых среди нас и наших родителей не было, и к юбилею мы относились как в анекдоте тех лет. «Первое место в соцсоревновании производителей сувенирной продукции, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, занял минский часовой завод.

— Это что, вот за эти обычные ходики? — недоумевая, спросил высокий начальник из Москвы.

— Да, уважаемый Леонид Ильич, вот эти простенькие часики и заняли первое место…

— А символика, символика где юбилейная? — с раздражением напустился гость.

— Вот сейчас, сейчас сами все увидите…

Стрелки ходиков слиплись на цифре двенадцать, механизм ожил, дверца отворилась и вместо привычной кукушки из часов выехал броневик, на броневике Ленин вытягивает вперед «ведущую руку» и кукует. И так двенадцать раз».

Как бы кто ни куковал, но играли мы этот спектакль, что называется, на подъеме, и заняли первое место среди народных молодежных коллективов республики. Лауреатскую медаль и диплом уже позже забирала мама, я пошел осваивать азы солдатской службы.

Потом жизнь меня сводила и знакомила с великими актерами и режиссерами Юрием Никулиным, Юрием Любимовым, Валерием Золотиным, Владимиром Высоцким, Татьяной Дорониной, Роланом Быковым, а в Московском театре миниатюр времен Вилькина я одно время дневал и ночевал и благодаря урокам Эсфири Матвеевны не чувствовал себя в их компании чужим.

Недавно заглянул в родной ДК, на большой сцене шла репетиция, осторожно заглянул в зал. Старая

и до боли знакомая сцена, неполный свет софитов, в центре зала, у стола с настольной лампой, — женщина. Все внутри напряглось, и я, помимо своей воли, с надеждой произнес: «Эсфирь Матвеевна!»

— Стоп! — громко хлопнула в ладоши незнакомая мне дама. — Вы кого-то ищете?

— Да, наверное, — извиняясь, ответил я, — наверное, ищу свою юность.

«Да воскреснет Бог...»

— Не прав ты, брат, не прав! — местоблюститель вскочил со своего кресла, раздосадованно махнул рукой и засновал по просторному залу, средину которого занимал огромный обеденный стол, старинный и добротный, как и все убранство этого неприметного особняка в Чистопрудном переулке теряющей свой исторический облик столицы. На темной столешнице как-то неестественно одиноко стояли два чайных прибора из розоватого китайского фарфора, замысловатая сахарница ЛФЗ времен развитого социализма и низкое серебряное блюдо с домашним печеньем. Блюдо было под стать столу — массивным, разлапистым, насупленно поблескивающим старинным серебром, из сервировки это был, пожалуй, единственный не выбивающийся из окружающего интерьера предмет.

«Ишь ты, еще и следы Святейшего не остыли в этих покоях, а уже какой-то переполох в чайной церемонии. Все в разнотык, — со вздохом подумал митрополит Филофей, пряча предательски подрагивающие руки под широкую седую бороду. И чего уж я ему такого сказал? А напустился, напустился-то как…»

— Ты, любезный наш Филофей, кончай глаза в пол прятать! — остановился в углу Киприан, — потрудись

объясниться, что сие значит: «Жребий Господень все решит»? Ты в своем ли уме, брате, бросать на посмешище такие труды, такие труды! Или ты все решил забыть и перекраситься под простеца? Да не молчи ты! — он капризно топнул ногой.

«Ишь как тебя, бедолагу, страсти-то крутят. Того и гляди, в ухо мне звезданет, — осторожно, как бы прячась, проскользнула крамольная мысль, иерарх даже испугаться не успел. — Что же это меня спокусило ляпнуть про этот треклятый жребий! Эх, язык мой поганый... — митрополит медленно, как бы нехотя, начал поднимать свою красивую и достойную голову, длинная седая борода, разделенная посередке еще темной, не вылинявшей прядью, словно поднимающийся занавес, предательски обнажила подрагивающие руки. Руки еще с семинарских времен были его слабым местом: стоило ему только усомниться в праведности своего или чужого слова, поступка, дела, а то и помысла, как тонкие пальцы начинали сами собой подрагивать. — Не хватало, чтобы он заметил мое смущение». — Филофей поспешно опустил руки.

— Так ведь такова традиция и каноны церковные: или жребий пред святым ликом, или шары белый и черный. Такова традиция, и не нами она заведена…

— Вижу я, Филофей, не желаешь ты меня понять и услышать! — оборвал его на полуслове местоблюститель, пружинисто, словно натренированный спортсмен, подскочил к столу, уперся руками в его край и навис над оробевшим собеседником. — Не могу я тебя понять! Так ты со мной или нет? — рыжие глаза горели раздутыми углями, ноздри жили какой-то своей разъяренной жизнью, а окладистая купеческая борода дико торчала

вперед, словно неведомое оружие. — Мне с утра донесли, что ты вчера вечером, после нашего разговора, имел сношения с Владимиром, может, переметнуться решил? — Киприан резко оттолкнулся от стола и выпрямился во весь свой дюжинный рост. — Ну, отвечай.

Руки перестали дрожать, и Филофей отчетливо ощутил, что грозный владыка просто боится его и целиком зависит от его, Филофея, позиции. Привыкший за долгую церковную жизнь взвешивать и скрывать от посторонних не только свои слова, поступки, но даже и мысли, он медленно встал и, глядя прямо в глаза своему визави, тихим голосом произнес:

— Все наши договоренности остаются в силе, я постараюсь оттянуть на себя голоса наиболее радикальных епископов, а в канун главного определения сниму свою кандидатуру в вашу пользу. Я, владыка, вам на это крест вчера целовал. О каких сомнениях может быть речь? Что до Владимира, то был я у владыки вечером, действительно, был и разговор имел с ним продолжительный с предложением повлиять на вас и склонить к самоотводу во имя спасения нашей матери Церкви..

— Так вот она — гадина, пригретая нами у престола! Можно подумать он — это спасение? — владыка вновь принялся вышагивать по комнате. Ну и что ты ему, брате, на это ответил? — не останавливаясь, как бы без особого любопытства бросил он Филофею.

— Ну а что мне ему было отвечать, правду и ответил: что ни он, ни я, грешный, никто иной не сумеет быть кормчими на нашем многострадальном корабле, ни здоровья, ни сил, ни страстей нам на это не хватит. Видно, так уж наконовано. Только, владыка, надо традиции соблюсти…

— Соблюдем мы твои традиции, не волнуйся так, но голосовать станем через урны. Вот Центризбирком готов электронными снабдить и помочь организовать подсчет голосов. Шары, жребии — это уже средневековое мракобесие. Пора отходить, Филофей! — обрадованно вскричал без пяти минут патриарх. — Послушай, Филофей, а хочешь, я тебя святым сделаю? Да погоди ты в бутыль скромности лезть, — волево оборвал он встрепенувшегося владыку. — О, я знаю, как прославить твое имя в твоей митрополии! Все, не возражай, не благодари, друг ты наш сердешный! — Киприан достал из кармана подрясника золотую визитницу с бриллиантовым уже патриаршим вензелем на крышке. Быстро что-то написал на обратной стороне и протянул благоухающий тонкими духами картонный прямоугольник огорошенному Филофею.

— Вот, позвонишь по этому телефону, представишься, скажешь, что от меня, и поедешь куда скажут. Я всех предупрежу. Лишнего там не болтай, а главное — после молчи. И вечное прославление твоего имени в твоем смутном краю гарантировано. Давай, брате, лобызаться да я и побегу. Президент ждать не будет, а его поддержка тоже не помешает ныне. А тебе спасибо, я добро помню.

* * *

Поместный Собор гудел, как гусли-самогуды у всякого выборного мирянина, священствующего, монашествующего, епископа или просто любопытствующего, прорвавшегося в святая святых, были свои резоны и рассуждения касательно будущего Русской

Церкви. Церковь, церковь! Вроде и Божье попустительство, а без страстей людских никак ты обойтись не можешь! И творятся дела небесные на все той же многогрешной земле нашей. Так и хочется воскликнуть: «Господи, почто у слуг твоих такие мирские заботы?»

Гудел Собор. Временные партии то сбирались в стройный гомон и готовы были стоять на своем до конца, то вдруг, без видимых на то причин, рассыпались «аки дом на песку побудованый». К обеду или вечеру вчерашние союзники уже обращались в противников и опять обещали друг другу быть верными новой платформе до скончания свету.

Из претендентов на Первосвященнический стол безусловными лидерами были: Филофей — старейший и многоопытнейший иерарх, ему большинство и пророчило победу. Опыт, мягкость, покладистость, истовость веры и, что немаловажно, преклонный возраст. «Дай Бог годков с пять протянет, а там и на покой или вообще в иные палестины, — чего скрывать, многие так думали, особенно из молодежи, примеряя на себя в будущем патриарший куколь. — За эти годки как раз я и подрасту, и поднаторею, связями обрасту да и заматерею малость». Вторым по справедливости шел митрополит Владимир, любимец и надежда усопшего патриарха, за ним стояли монастыри и ревнители веры из мирян — сила в церкви что ни на есть становая. Третьим шел Киприан — трибун церкви, медийная ее звезда, знаток Писания, прирожденный интриган и церковный магнат, за ним стояла светская власть, а главное — одна весьма и весьма компетентная организация.

Филофей уединился ото всех в своем подворье и выходил только к врачам, пользовавшим его по поводу больных ног. Стояние в вере — это не только истовая молитва и непоколебимая уверенность в правоте дел Всевышнего, это еще тяжкий труд стояния на своих ногах. Пока молод, ежедневные многочасовые службы не так уж и тяжелы: бывало, придешь в келью едва живым, обувку скинешь, келейник ноги разомнет, полчасика подремлешь и вновь как огурчик, и вновь к алтарю. С годами все труднее и труднее было стоять, да и двигаться по настылым каменным полам и гранитным ступеням. После пятидесяти ноги деревенеют и становятся подобными на слабо послушные бревна. А тут, в Москве, уже лет как с десять объявился один чудный доктор, не то бурят, не то китаец, — часок поколдует, помнет икры, иголками потычет, мазью натрет — и все боли и тяжести как рукой снимает. Одно хлопотно: не менее десяти раз к ряду надо с китайцем встречаться, это — во-первых, во-вторых — раз в полгода курсы эти повторять необходимо, иначе все неприятности постепенно возвращаются. Вот Филофей и пользовался затянувшимся торчанием в первопрестольной.

Ссылаясь на недомогание, что вполне правдоподобно в его возрасте, и на душевные настроения в связи с потерей не только благодатного первосвященника, но еще и давнего своего друга и соратника, митрополит избежал участия в различных партиях. Приняв для себя решение, он покорился судьбе и всецело сделал ставку на Киприана, хотя, как ни кто иной, знал истинную цену этому практичному человеку с душой начетчика. «Но все в деснице Твоей, о Господи! Так уж сложилось

в Церкви нашей, что никто иной не сдюжит сегодня этого груза, никто. Нужен такой жесткий, властный, светский владыка, иначе, Киприан прав, все рассыплется, зачахнет, расхитится», — мысли о своем патриаршестве он гнал пуще надоедливых собак, хотя себе-то не соврешь, червь тщеславия все же точил его изнутри. Вот в такие минуты борений он и вспомнил о Киприановой картонке с таинственным телефоном, дарующим людям святость.

На другом конце трубку подняли почти сразу. «Видать, казенное заведение», — подумал он и представился.

— Доброго дня, владыка. Нас предупредили, и мы вас ждем, если вас не затруднит, запишите адрес и приезжайте в любое удобное время. Пропуск на машину уже заказан.

Ехать пришлось недалеко, в район Лубянки. Как и у всякого человека сталого возраста, у владыки к этому столичному кварталу была стойкая предубежденность. Правда, сегодня не то чтобы он боялся этого некогда всесильного ведомства, плотно курировавшего и постоянно вмешивающегося в дела церковные, скорее, по старой памяти он никак не мог избавиться от устойчивого чувства омерзения при контакте как с самой системой, так и с ее представителями. Сегодня вылинявшие наследники Феликса и Лаврентия вновь обретали свою темно-голубую окраску, и их розовые от любопытства уши торчали из каждого мало-мальски богатого учреждения. Владыка надеялся на Провидение и только после соответствующих визитов и встреч долго мыл руки с мылом, как после контакта с заразными больными.

Переулок, в который они приехали, находился слегка в стороне от основного мрачного квартала, где от се-

рого мрамора и бетона и в ясный день висела какая-то пасмурная хмарь. Домик, обозначенный в адресе, ничего из себя примечательного не представлял, так — средней руки московский особнячок, только чудная подворотенка с колоннами.

— С какого ляду здесь колонны? — подумал владыка и, мысленно осенив себя крестным знамением, шагнул в предусмотрительно распахнутую кем-то невидимым дверь.

Внутри дом оказался намного старее, чем это показалось снаружи. Неширокая мраморная лестница пологим полукругом подымалась в покои. Ступени были до того истерты посетителями и временем, что ступать на их середину было небезопасно, а пренебрегший этим смельчак рисковал оступиться или подвернуть ногу на скользких неровностях истоптанного мрамора, каким-то необъяснимым чудом сохранявшим свою первозданную, искрящуюся белизну.

— Рад вас приветствовать в наших хоромах, уважаемый, Леонид Павлович! — по-светски обратился к владыке среднего роста человек, одетый в темно-серый костюм, серую рубашку и едва различимый серый в коричневую крапинку галстук. — Правильно, вот здесь, по правой стороне, и подымайтесь, ступени пологие и, что очень важно, плоские — не то что посредине, там мы и сами уже давно не ходим. Протерлась, износилась лестница, а поменять эту старину рука не поднимается. Придания хранят такие россказни о людях, по ней шествовавших — волосы дыбом встают.

Владыка не спеша поднялся по лестнице, после сеансов китайско-тибетского доктора такие препятствия были для него сущим пустяком. «Какой-то недобрый

дом, — ни с того ни с сего пронеслась в голове абсурдная мысль. Не любил владыка подобных мыслей, приходящих вдруг и невесть откуда. — Да воскреснет Бог, и расточатся врази его…» — принялся он читать молитву, которая снимала всякие наваждения, искусы, гнала вспять недобрые мысли и образы. Пожимая руку серого человека и следуя за ним, владыка дочитал молитву и осенил себя крестным знамением. Боковым зрением он ощутил, что спутник на это кисло ухмыльнулся и вроде как отпрянул от него.

— Простите великодушно, не расслышал, как вас по имени-батюшке? — чтобы прервать затянувшееся молчание, спросил митрополит, с интересом рассматривая стеклянные витрины плоских шкафов, тянувшихся вдоль коридора, только проемы высоких стрельчатых окон да двери прерывали их ряды.

— Это вы меня простите, надо же — забыл представиться! — притворно кудахтнул встречающий. — Полковник Семчишин Антон Генрихович, местный, так сказать, смотритель всего этого добра, — он широко повел руками вокруг себя. — Вот уже пятнадцатый год, как служу при них. И они ко мне привыкли, и я к ним, так что тяжко разобраться, кто из нас главней. Давайте сначала зайдем ко мне в кабинет, чайку выпьем, поговорим о ваших потребностях, а потом уж я вам сам проведу экскурсию по этому дому.

— Извините, а что здесь за департамент и какому ведомству он принадлежит?

— Ведомство в окрестностях господствует только одно ФСБ — КГБ — ОГПУ — ВЧКа, как кому сподручнее. Неужели приславший вас к нам не поведал, куда вас спроваживает?

— Да нет, как-то времени не хватило, — как можно безразличнее ответил владыка, останавливаясь у витрины, заставленной пронумерованными человеческими черепами. — По правде сказать, я толком-то и не знаю, зачем сюда приехал. Какие-то странные у вас экспонаты, зачем это, вы что, музей? — он указал на ряды упрямо сжатых челюстей.

— Долгая это история, но мы не музей, мы в прошлом — очень серьезное научное заведение, а начинали со скромной, весьма секретной лаборатории. Вы что-нибудь про Глеба Бокия слышали?

— Наверное, только что-то самое общее: один из руководителей ЧК, близкий человек к Ленину и, кажется, не то он сам застрелился, не то его расстреляли в тридцатые. Я ничего не путаю?

— В общем-то нет, — усмехнулся полковник, — для служителя культа вы весьма информированы.

Они свернули направо, в боковой коридор, спустились на несколько ступенек вниз и, миновав старомодную огромную приемную с пожилой неприветливой секретаршей, очутились в кабинете, скорее напоминающем какой-то тронный зал.

— Ну, вот и мои хоромы! Иной раз, не поверите, выть здесь хочется, а других подходящих помещений нет, вот и пылюсь здесь, как лабораторный инвентарь. Проходите, давайте вот здесь и присядем, — Антон Генрихович указал слегка оробевшему владыке на старинные кресла с витыми ножками и веероподобными спинками, изрезанными замысловатыми узорами. В кругу трех кресел стоял такой же низенький колченогий столик с богато инкрустированной столешницей.

Владыка, не скрывая любопытства, оглядывался кругом. Удивляться и робеть здесь было от чего. Высо-

ченные готические окна, забранные во всю высоту витражами, представляли собой картины какой-то древней мистерии, однако, мозаичный рисунок разобрать было сложно, почти на всех окнах были полуспущены некогда белые, а ныне посеревшие от времени и стирок маркизы. Кроме прозрачных занавесок по бокам каждого окна от самого пола к потолку поднимались тяжелые бархатные шторы с желтыми кистями витых перевязей. От недостатка света в помещении царил устойчивый полумрак, отчего мебель и другие предметы приобретали некий таинственный и слегка жутковатый вид.

— Да, мрачновато у нас, — как бы угадывая мысли митрополита, равнодушно произнес хозяин странных апартаментов. — Это еще солнышко слегка светит, а в пасмурные дни без электричества и заблудиться можно. Собственно, этот зал когда-то, в двадцатые годы, и был пресловутой лабораторией Глеба Павловича Бокия, другие помещения занимали смежные отделы нашего ведомства. Всего здесь хватало, вплоть до кабинетов спецдознаний, — говоривший сделал паузу, как бы давая слушателю время осмыслить сказанное.

Владыка молчал и сосредоточенно разглядывал видимые фрагменты витражей.

— Гляжу, вас окошечки наши заинтересовали? Занятные картинки, особенно когда шторки подняты и солнце на закате их полностью освещает. Солнце здесь, кстати, только к вечеру и появляется…

— Простите великодушно, никак не могу разобрать, что за сцены здесь представлены? — перебил его владыка и уже было двинулся к ближнему оконному проему.

— Скабрёзные весьма картинки из языческих, связанные с культом Диониса и вакханалиями. Но это, так сказать, досталось по наследству от развратного царизма. Домик этот еще тот, что-то на вроде рижского «Дома черноголовых», принадлежал, правда, близкой родне императорской ветви Романовых. Давайте все же присядем, — он опять указал на кресла у колченогого столика.

Расселись, где-то вглубине зазвонил телефон.

— Извините, но трубку этого аппарата брать надо в обязательном порядке, — и хозяин как бы растаял в полумраке.

В скорости в самом конце залы неярко зажглась настольная лампа под большим зеленым абажуром. Владыка с удивлением заметил, что стена за рабочим столом, стоящим на небольшом возвышении, представляла собой огромное окно, наглухо зашторенное бархатным занавесом, ибо занавеской это назвать язык не поворачивался. О чем говорил хозяин, разобрать было невозможно, да и разговор велся скороговоркой на каком-то азиатском наречии.

«С какого ляду я сюда притащился, сидел бы себе дома и радовался покою. Старец уже, а все любопытствами обуреваем, — принялся он себя укорять, однако внимание его привлекли странные инкрустации на столике. Это были надписи на древнем иврите и какие-то кабалические рисунки. — Да, не дом, а сплошные мерзости, за таким столом и хлеб в горло не полезет».

На его радость хозяин вернулся, да и секретарша выплыла из мрака с огромным подносом. Она молча застелила стол пластиковыми сервировочными сал-

фетками с изображением ярких тропических фруктов, расставила чашки, на середину стола водрузила большой чайник и два небольших блюда со сладостями, аккуратными дольками лимона, сахаром, орешками и сухофруктами.

— Не взирая на всю нашу мрачность, чай у нас традиционно отменного качества, — разливая янтарную жидкость в тонкие чашки, произнес хозяин. — Я вижу, вы явно тяготитесь присутствием у нас и, не бойся, уже принялись себя корить в том, что сюда явились. Владыка, не возражайте. Все мы домоседы и очень не любим наносить странные визиты или принимать у себя странных визитеров. Давайте сразу к делу, вы не против?

— Не к чему возражать. Вы проницательный человек, мне действительно как-то не по себе от всего этого, — Филофей неопределенно повел перед собой рукой. — Признаться, я уже действительно пожалел, что сюда приехал. Однако в церкви, как и в вашей организации, благословение начальствующего исполняется беспрекословно и быстро. Так зачем я к вам прислан? Вопрос, конечно, глупый, но искренний. Я, в самом деле, не знаю, о чем говорил местоблюститель. — Владыка внимательно посмотрел на собеседника, лицо которого, при всей его рельефности, было каким-то мимолетным. Вот, кажется, нос, рот, скулы, но отведи глаза — и ты их не можешь представить в памяти, вернее, по отдельности вроде и представляешь, а вот свести воедино, чтобы сложился образ только что виденного человека, никак не получается.

Чай, действительно, был замечательным, с какими-то травками или кореньями.

— Зачем вы пришли, думаю, вам будущий патриарх объяснит, да вы и сами скоро обо всем догадаетесь. Не будем мы, наверное, ходить по нашим залам и катакомбам, думается, экскурсия для вас будет не из приятных. Но краткую историю вопроса я все же изложу. — Он как бы на минуту задумался, взвешивая, а следует ли вообще продолжать. Ведь и сановитый этот монах, и вся его церковь с фанатичными и невежественными верующими относит все, о чем пойдет речь, к сатанизму и свидетельству присутствия вечного Зла на земле. Но он все же решил продолжить, а заодно лишний раз проверить действие новых знаний на профана.

— По сути, мы такое же мистическое заведение, как и ваша церковь. У нас есть и свои адепты, и свои святыни… Владыка, прошу вас, не возражайте. Я вас не собираюсь обращать в свою атеистическую веру, я говорю лишь то, что должен вам сказать. Считайте, что с вами проводят закрытый инструктаж. Главное, чем здесь занимались и нынче занимаются, — сбор, анализ и изучение тайных знаний, паронормальных способностей человека, сакральных предметов, религиозных практик, инициаций и древних культов. Вот, к примеру, этот стол. С виду стол как стол, исчерченный кабалистическими заклинаниями, формулами и магическими знаками. Ничего особенного, правильно?

— Вам виднее, это же ваше имущество.

— И то верно, имущество казенное. Однако коснитесь чайника, только осторожнее.

Владыка с опаской дотронулся до крутобокого красавца и отдернул руку.

— Горячо!

— В том-то и весь секрет! Чайник сохраняет тепло сколь угодно долго, ежели его поставить именно на это место. Не верите? Давайте уберем чайник и на его место установим вашу чашку. — Не дожидаясь согласия, Антон Генрихович проделал манипуляции с посудой, — минут через десять, я верну вашу чашку.

— Все, что здесь хранится, необычно и порой необъяснимо. Для вас, я имею в виду, верующих, все просто: что не понятно — от бога или его антипода, а нам за волю Всевышнего спрятаться не получается, нам начальству о результатах докладывать надо. Так вот, имеется у нас отдельный фонд хранения и изучения подобных вещиц, собранных и в вашем Западном крае и напрямую касающихся вашей христианской конфессии. Я тут готовился к вашему визиту и велел из хранилищ кое-что переместить временно сюда. Пойдемте, глянем, пока чай ваш подогреется.

Филофею ничего не оставалось делать, как подчиниться и проследовать за хозяином. Они подошли к большой стеклянной витрине на подобие стоявших в коридорах. Щелкнул выключатель, и под стеклом владыка увидел древние, заточенные в изъеденную временем кожу рукописные фолианты, потиры, необычной формы аналойные кресты, подсвечники, кадила, лампадки.

— Вы можете все подержать, потрогать, замков на дверцах нет.

Владыка взял небольшую книжицу, лишенную переплета и завернутую в тонкую, хорошо выделанную кожу. Рукопись была древняя, написанная странными бурыми, местами вовсе вылинявшими чернилами. Не спеша, он нацепил очки и попытался прочесть текст.

Язык оказался не церковнославянским, а каким-то странно-знакомым, как будто он его недавно слышал на улице. Это явно было Откровение Иоанна Богослова с весьма странными толкованиями. При этом объяснение текста шло сразу за каноническим писанием.

— Из всех собранных в этом шкафу рукописей вы почему-то взяли самую странную…

— Что, и она тоже чай подогревает?

— Да нет, это единственный, насколько мне известно, в мире экземпляр Апокалипсиса, переписанный в шестнадцатом веке униатским монахом своей собственной кровью. С пророческими толкованиями. Вообще униатских и древнерусских, в смысле полоцких и киевских, книг остались единицы. Когда вы при великой Катюше стали сгонять всех в свое единство, то все книги и богослужебные, и святого письма, свозились в Жировичский монастырь и сжигались. Я бы дорого отдал за одну только щепотку пепла с того кострища. Сотни тысяч тогда сгорело книг. Нет, я не сумасшедший. Просто мы еще в двадцатые годы доказали, научно доказали, а не теологически, что горсть пепла из сгоревшего города хранит в себе почти всю информацию о самом городе и его обитателях. Книги эти интересны, но не особенно ценны, как по мне, так многие можно было бы давно отдать в музеи. Хотя там их растащат, продадут или вовсе сгноят в сырых подвалах. Меня, допустим, больше интересует, что копала Аненербе в годы Второй мировой войны на стыке Могилевской и Гомельской областей, знаете, там, в углу, где известная Голубая криница. Вы часом ничего про это не слышали?

— Нет, не слышал, я даже и предположить не мог, что во время войны кого-то могла интересовать архе-

ология, — ответил владыка, водружая на место крамольные записки.

— Немцев интересовала, да еще как.

Вторая витрина была побольше, но содержимое практически не отличалось от предыдущей.

— Здесь, владыка, та книга, которую велено вам передать. Попробуйте сами угадать.

— Нет уж, увольте, не с руки мне как-то гаданиями заниматься, — обиженно ответил митрополит, — и еще: если книга будет не каноническая, да еще и кровью писанная, я ее не то что с собой — в руки не возьму.

— Нет, книга вполне каноническая, науке известная, только вот со времен войны выпавшая из обращения. Для нас она — нулевой пункт хранения, хотя какие-то вибрации и она создает. Вот она.

Владыка осторожно, явно боясь подвоха, взял увесистый том, раскрыл его и чуть было не лишился чувств. Он держал в собственных руках древнюю рукопись Сбужского Евангелия, утерянную в 1941 году.

— Это копия? — едва шевелящимися губами произнес иерарх.

— Обижаете, не та репутация заведения, чтобы здесь держать копии. Оригинал, лично в 1581 году переписанный сбужским князем Юрием Олельковичем.

— Господи, быть этого не может, не может! — митрополит прижал к себе левой рукой книгу, а правой широко перекрестился.

— Э, давайте-ка у нас обойдемся без обрядовых жестов и молитв. Не подходящее для этого место, а то невесть какие процессы запустить можно. Вижу, что вы довольны, берите свой артефакт и пойдем чай допивать.

— Нет, нет, одну минуточку! — прижимая к себе Евангелие, запротестовал владыка. — А где он?

— Не понял, простите, кто где?

— Как кто, крест наш! Крест святой Ефросинии?

— Вот все кресты, что у нас обрели пристанище, какой из них ваш, не знаю, — явно с напускным безразличием произнес полковник.

— Нет, нет, он у вас! У вас, если Евангелие здесь, то и крест должен быть. Их вместе вывозили из Москвы, тогда, летом сорок первого.

— Пойдемте, владыка, чай допивать, — стоял на своем хозяин, — пойдемте, а там, может, чего и придумаем.

Чай, действительно, был почти кипяток, в другое время владыка этим бы феноменом заинтересовался, а сейчас из головы у него не шла мысль о кресте — великой святыне небесной покровительницы его митрополии, всего Западного края.

— Вы пока почаевничайте здесь в одиночестве, а я на минуточку отлучусь, — прервал его размышления Антон Генрихович. Я, кажется, догадался, о чем вы спрашивали. Скоро вернусь, — и с этими словами хозяин кабинета встал с кресла, его серая фигура практически растворилась в подслеповатых сумерках.

«Эх, владыка, владыка, — не выпуская из рук священную книгу, попенял себя митрополит, — и угораздило тебя во всю эту чертовщину вляпаться. Да ничего, с чертовщиной отмолюсь как-нибудь, главное — *книга* и *крест*. Крест... Я уже более тридцати лет на кафедре, а его все ищут. Светские, правда, власти в основном ищут. Просил у патриарха благословения на поиск наших святынь: и не благословил, и запрета не сказал. Не о том ты, старый дуралей,

думаешь: розыски, благословения! У тебя вон полная папка вырезок, и ни в одной из них нет и полслова про Бокая этого и его лабораторию. Считай, в России реликвии толком никто и не искал. Что же делать? Евангелие я уже им не отдам, — владыка готов был, пока нет хозяина, разоблачиться, прижать книгу к телу брючным ремнем и скрыть от нечистых глаз и рук ее под широкими складками рясы. — Да нет, не надо ничего прятать, чекист этот вроде сказал, что велено книгу мне отдать.

Мысли скакали как те блохи.

«Хорош, однако, Киприан, знал ведь, знал паскудник, где это все сокрыто было, и молчал, и передо мной молчал, и перед Синодом, и главное — пред Господом. Ох, юдоли наши тяжкие! А что если креста и в самом деле у них нет. Может быть, и зря я про крест разговор завел? Ох, хитрее, хитрее надо было действовать. Сперва книгу спасти, а потом уже и за крестом приходить, Киприана досаждать...»

— Ну, вот и я, заскучали, наверное? — почти над самым ухом прошелестел голос вернувшегося эфэсбэшника. — Чего же вы чай не пьете, сейчас мы его малость подогреем…

— Да вы знаете, я уж и так кругом опаздываю, — поднимаясь, скороговоркой произнес владыка, — пойду я, пожалуй, с Божьей помощью.

— Извольте, я вас задерживать не смею, не было пока таких распоряжений, — полковник, довольный своей бестактностью, ухмыльнулся, — вот сейчас формальности кое-какие уладим и ступайте себе. Прошу вас: подпишите вот этот формуляр.

Владыка опустился на кресло, по-прежнему прижимая левой рукой к груди Евангелие.

— Да положите вы книгу, она уже считай ваша, и отнимать ее никто не станет.

Митрополит пропустил мимо ушей эти слова, пытаясь уловить смысл читаемого документа. Ничего особенного бумага не содержала. Сначала шло описание артефакта, где, когда и кем он был создан, кем найден, где хранился, кому передавался — ничего нового. Последний абзац гласил, что данная единица хранения безвозмездно передается представителю РПЦ, фамилия, имя, отчество, и в скобках мелким шрифтом: митрополиту Заподнокрайскому Филофею. Не выпуская книгу из рук, владыка расписался протянутой ему авторучкой.

— Все, мне можно удалиться?

— Пока нет, вот еще текст обязательства, что вы ни при каких обстоятельствах не вправе разглашать причину вашего визита к нам, передавать иным лицам содержание нашего разговора, описания увиденного здесь и так далее.

— Как, а Киприану? Синоду?

— Молчать, владыка, надо, как вот этому столу. Выкипать изнутри, но молчать. Это, как у нас говорится, в ваших же интересах.

Владыка подписал и обязательства.

— Да уж не спешите, дело сделано. Чай давайте все-таки допьем. На Востоке недопитый чай — оскорбление для хозяина и его дастархана.

Подлили горячего напитка из вечно разогретого чайника.

— Вы, верно, про этот крест говорили? — абсолютно отсутствующим голосом произнес полковник и по-

ложил перед опешившим владыкой продолговатый кожаный футляр. — Вот он, ваш крест. Обещайте, что вы до него не дотронетесь, это единственное условие. Ну, так даете слово?

Трудно и описать, что происходило с владыкой: разум и вера сцепились в какой-то внутренней борьбе. Казалось, еще минута — и сердце выскочит из груди, и он не только не увидит небесного креста, но никогда не вынесет из этого сумрачного чертога священное Евангелие. «Нет, надо бороться, надо держаться, «сим и победим», «да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко тает воск от лица огня…» — дочитав молитву до конца, владыка вымолвил:

— Обязуюсь…

Футляр распахнулся, и на светлой ткани засиял древний символ древней земли, многострадальной и долгие века безымянной, но не покоренной, не сломленной и выстоявшей и ныне обретающей свое прежнее имя и славу.

— Благословенно имя Господне за явленное чудо обретения очами моими креста преподобной покровительницы земли нашей. Спасибо вам, каким бы вы ни были человеком, после этого и помереть не страшно, — не отрывая глаз от креста, произнес Филофей, — одного понять не могу, зачем он вам? Книгу отдаете, а обшарпанную деревяшку, по вашему разумению, оставляете в темнице?

Крест выглядел так, как его и описывал Ластовский, немощным, поврежденным и оскверненным охотниками за каменьями.

— А знаете, что на одной из боковин креста по научению Ефросинии мастер Лазарь Богша вырезал проклятие тому, кто хотя бы попытается вывезти сей крыж из города Преподобной?

— Знаем, и высоко это ценим, может, кстати, это заклинание и является энергетически наиболее ценным элементом во всей конструкции изделия. Если вам интересно, могу прочитать этот текст.

— Нет, спасибо, не я вывозил сей крест и не мне тяжесть слов этих нести. Так все же зачем вам крест, вы так и не ответили.

— По нашему внутреннему преданию, как раз на этом месте, где вы сидите, сидел небезызвестный миру Лаврентий Павлович Берия и так же, как и вы, сокрушался выбором его подчиненными предметов из только что прибывшей машины. Да, владыка, той самой машины, про которую вы все пытались завести разговор. А выбор был действительно странным. Невзрачный крест, из которого представители сознательного пролетариата повыковыривали все более-менее ценные вставки. Изрядно потрепанная книга, якобы переписанная самолично каким-то князем, да еще странной формы ковшик из захоронений поздней бронзы. Вот и весь клад. Всесильный Берия возмущался, дескать, зачем НКВД вся эта рухлядь, но он знал, что с нашими спорить — себе дороже. Да и вряд ли тогда можно было дать верный ответ на подобные вопросы. Товарищи, ответственные за сортировку, угадали или почувствовали энергетическую силу сочетания этих предметов и направили их в лабораторию. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Признаться, нет. Какая энергия, что, в кресте электростанция или аккумулятор спрятаны? Не понимаю…

— Может, больше, чем электростанция. Владыка, наш разговор не имеет никакого смысла, мы не сможем понять друг друга, потому что говорим на разных языках похожими словами. Все же я попробую объяснить вам все на пальцах. Мы считаем, что мир энергетичен и вся живая и неживая материя взаимосвязаны между собой тонкими энергиями. В зависимости от приложения этих энергий, их концентрации или перераспределений зависят состояния планеты и социума, на ней обитающего. Одним словом, кто научится первым управлять энергиями, тот и будет полноправным хозяином мира. Все правительства ведут исследования в этой области, но толком результатов пока никто не добился. Так вот, как выяснилось, крест вашей святой — своеобразный энергетический ключ, способный перераспределять энергии. Почему это происходит, никто не знает, но и вернуть его в энергетическую стихию вашего народа крайне опасно. Что наделало копье Лонгина, попавшее из музея Австрии в руки одного германского ефрейтора вы, надеюсь, знаете? — полковник замолчал, давящая тишина переполненного вещами и пылью помещения навалилась на владыку, не давая возможности сообразить и осмыслить услышанное. — Не мне вам, искушенному теологу, объяснять, что всякая империя наравне с земным, материальным воплощением имеет и сакральное, мистическое воплощение. Так вот крест этот удерживает вашу страну в гранях единой империи, ну, скажем, Романовых, Советского Союза, не имеет значения, и перемещение его в ваши края

чревато весьма непредсказуемыми последствиями. Ни нам, то бишь России, ни окольному миру не нужен сильный, самостоятельный Западный край. Не вписывается он в новую раскройку мира, так что крест этот народ ваш никогда обратно не получит. Хотя, может, это и к лучшему. А теперь, владыка, будем прощаться и, главное, — забудьте все, что вы здесь видели и слышали. Из обретения Евангелия чудес делать не следует: просто прихожане принесли, кто, откуда — кто его знает? Сами подробности придумаете.

Они встали и направились к выходу.

— Не обессудьте, Антон Генрихович, а что изображено на витраже огромного окна за вашим рабочим столом?

— Вы и это успели разглядеть, не надо было вас сюда приводить. Трон Люцифера, правящего миром и властителями его.

— Да воскреснет Бог… — негромко запел владыка и, не прощаясь, вышел вон, все так же крепко прижимая к себе бесценное обретение.

Сеновал

Засыпается на сеновале не быстро, но сразу. Нет ни дремы, ни бесцельных городских лежаний в ожидании прихода сна. Казалось, только Игорек что-то такое интересное рассказывал-рассказывал и вдруг споткнулся на полуслове и все. Ты его толкай, тряси, из пушек стреляй — все без толку. Спит человек, а юная и робкая душа его бродит в какой-то своей сказочной стране. Может, именно тогда, на том деревенском сеновале и научился я трепетно, с пониманием относиться к чужому сну и, если это было возможно, никогда без особой нужды спящего человека старался не будить.

Свежее сено еще пахнет лугом и солнцем, летним зноем и терпкостью высохших до ломкости цветов, из которых еще порой нет-нет да и высыпется, словно липкая ярко-желтая сажа, цветочная пыльца и измажет лицо, или рубаху, или мягкую самотканую подстилку, еще недавно выстиранную и слегка подсиненную.

Сеновал — это целый мир со своими шорохами, скрипами, вздохами добрых домашних духов, копошением где-то там, далеко, кур, сонным похрюкиванием свиней, медленным и бесконечным, как время, жеванием коровы и телят, приглушенной возней кроликов.

Все здесь необыкновенно привычно и слышимо. Вон в саду упало яблоко, далеко, аж на краю села, у колодца, звякнул стальными путами конь. Великолепен, чист и не размыт деревенский ночной звук, и услышать его ты можешь только с сеновала, уже обычная изба застит и притупляет его своей тишиной. Подольше бы только звук этот жил да находил своих слушателей. Вместе со звуками сеновал живет и своими запахами, которые до чиха ввинчиваются в нос, забиваются в глаза и рот. В отличие от урбанистической вони, эти запахи живые и не несут тебе, а равно и всему Божьему миру, никакого вреда. Ты чувствуешь их на вкус и видишь сквозь полусмеженные веки. Здесь своя образно-вкусовая система обоняния.

И вечер, и утро, и ночь, и день неодинаковы на сеновале, каждое время особо и неповторимо, разве что только затяжной мелкий дождь может внести свою серую монотонность в этот древний мир. В дождь на сеновале особенно уютно, и тогда там господствует особый вид лени и неиссякаемой сонливости. Тогда хорошо, чтобы внизу на перевернутой дежке, подложив старую овчину, уселась бы бабушка и стала, перебирая горох или бобы, рассказывать сказки или какие-нибудь деревенские были, лучше, конечно, о войне, о партизанах, о сбитом летчике или еще о чем-нибудь, сотни раз повторенном, но не теряющем своего интереса.

Утро выдалось ясным. Яркое, молодое и оттого юркое солнце вливалось во все щели и мелкие дырочки сеновала. В его лучах и лучиках суетились мириады пылинок, оно золотом искрилось на тонюсеньких паутинках, резвилось и игралось на наших сонных загорелых, с облупившимися носами лицах.

Корову уже подоили, и звона тугих струй молока, ударяющих в подойник, я не слышал — проспал. Но

зато я с наслаждением вдыхал запах парного молока, у нас его называли сыродой.

Три запаха я вынес из своего беззаботного босоногого детства — это запах сыродоя, стойкий и всепроникающий, как запах утреннего кофе. Хотя мне думается, это не совсем верное сравнение, парное молоко пахнет жизнью, как кровь — смертью, и его нельзя ни с чем ни спутать, ни сравнить.

Второй — запах свежеиспеченного хлеба, который, казалось, заполнял весь мир, он был невесомо-тяжелым и приземистым. Порой легкий ветерок мог унести этот древний дух далеко-далеко, к речной пойме на общинные покосы, и тогда мужики, уловив его носом, обтирали свои «литовки» пучком только что скошенной мокрой травы, втыкали косы в мягкую луговину, взбирались на какой-нибудь пригорок, где было посуше и, продолжая втягивать в себя далекий хлебный дух, затевали недолгий перекус, одобрительно судача о том, что, несмотря на недавно открытую райпо хлебопекарню, старая Казачиха не ленится печь домашний хлеб. Хлебный дух был будничным — ржаным — и праздничным — пасхально-куличевым. Я долго думал, что Бог пахнет воском, долежавшими до свята антоновками и пасхой, так у нас называли куличи, а творожную пасху, по-моему, вообще не делали. Богом пахли руки моих бабушек, а позже мамины. К сожалению, сейчас живущий во мне Бог ничем не пахнет.

Третий запах — запах пророщенного жита, бродящей браги и цурчащего по белой суровой нитке самогона. Самогон на Беларуси гнали всегда и все, считая это занятие исконным правом, своеобразной основой неподлеглости и почитая за особый гонор.

Третье пришествие Иоанна

Все это произошло совсем недавно, когда в нашей, старой, никогда не закрывавшейся церквушке еще жил Бог, а делами в ней заправлял допотопный батюшка с обыденным именем Иван. Правда, чаще его звали на духовный манер Иоанном, но это к моему рассказу не имеет никакого касательства. Был он поп как поп, невеличкого роста, не то чтобы совсем малый, но и большим его назвать язык не поворачивался, так, середнячок, и что главное — он не только в росте, но и во всем ином середнячком слыл. За похвалой церковного начальства не гнался, особых разносолов проверяющим особам, что светским, что своим духовным, не расточал, отчего они к нему не особо-то и наезжали. Сам жил по-среднему, как-то бочком, незаметненько. С прихожанами особо не строжился, епитимьями, неурочными постами да поклонами народ не мордовал. Грехи отпускал почти всегда, только иной раз повздыхает сокрушенно, но имя Господне призовет и разрешит бедолагу от душевного гнета. А бывало, и вовсе чудил: не снимая епитрахили с покаянной головы, сам на колени перед кающимся упадет и заплачет, ровно малое дитя. Тут и богомолец тот

на колени бух и тоже в слезы, вот так вдвоем и ревут. А иной раз и весь церковный народ на колени станет и плачет себе потихоньку о чем-то своем, тихо так всхлипывают, дымок ладана, как сизый туман, у окон клубится, и свечки тихонько потрескивают. Певчие, бывало, смолкнут, может, тоже слезы горло перехватят, только дьякон, аки шмель, гудит и гудит в алтаре свою песнь. Вот какая была у нас церква, и какой был батюшка, вроде и неприметные вовсе, как и сама жизнь.

Прибился Иоанн к нашему старинному и богатому селу вскорости после ухода немцев. Большого разора немчура у нас не натворила, может, оттого, что сельцо-то отшибным было, вкруг болота да пущи с озерами, а там, не знавши дорог да гатей, особо и не находишь. Полицаев было два, миром из своих же и выбранных. Сход порешил выбрать двоих в полицию и двоих в партизаны. Но и те, и другие жили себе в своих дворах и дальше отхожих покосов старались не отлучаться — мало ли какая власть в село заявится. Но власти к нам явно не спешили, да и что им в этакой глухомани делать? Правда, когда еще до войны докатилась до нашей дичи коллективизация, заявилась к нам ватага из райцентра, подивилась нашей зажиточности, языками поцокала, колхоз образовала, даже какого-то курчавого из приехавших председателем определила. Самогона и припасов сельсоветчики перекатные прихватили и засобирались восвояси. Покатили, одним словом, на облегчение всего общества. Покатить-то покатили, а до места так и не добрались, где и как сгинули, по сей день никто толком не знает. В болотах всяко бывает. Так мы безколхозными и остались. Не, по бумагам-то мы колхозничали, а взаправду как жили миром, так

и продолжали жить, почитай, аж до нынешнего дня у всех хозяев свои наделы еще на прапрадедовой земле, а хлеба, выгоны, леса и покосы общинные. Сено так, по старинке, по жребию, и продолжаем делить. Хотя по-людски жить все тяжелее и тяжелее становится, народ и душевно измельчал, и от грамоты в правде разуверился, да и свое подрастерял, а чужое, оно, вестимо, чужое и есть, это ж сколько времени надобно, чтобы оно своим-то стало или хоть как-то у нас привилось. Да и зачем на чужое зариться, когда своего полно кругом!

Ну да это совсем иной разговор, а ныне о попе нашем речь. Так вот, в тот год, по осени, как немцев прогнали и болота наши еще не раскисли, прикатили на мотоциклетах какие-то военные, забрали наших: и партизан, и полицаев, и батюшку Иоанна. Тот святой человек уже совсем стареньким был, только по воскресеньям обедню служил, деток крестил да покойников отпевал, так вот и его, немощного, загребли. В кузов на какой-то сенник бросили и увезли, так мы его больше и не видели. Полицаев вскорости отпустили, когда выяснили, что никакие они не полицаи, и ни в каких таких делах замешаны не были, а вот партизан посадили, аж по десять лет бедолагам дали за дезертирство из своего отряда, а где тот отряд был, они и знать-то не знали. Жалко мальцов. Потом только один из Сибири возвернулся, а второй так там и сгинул, может, погиб, а может, и прибился к кому, кто знает, жизнь она-то по-разному повернуть может. Вот такие наши юдоли. Батюшку того тоже судить в районе решили за сотрудничество с немцами. Наши сельчане даже туда депутацию отряжали, миром хотели рассказать, что немцев-то этих батюшка и видывать не видывал. Мы же его, как эти супостаты

в село заявлялись, прятали в лесах от греха подальше. А судейские знай свое гнут: службы на временно оккупированной территории служил? Служил! Значит, сотрудничал с фашистами. Наши им: да он богу служил, о победе молился. А те — бога нет, а служил, выходит, при немцах, значит, пособник. Они тогда в пособники и почтальонов зачислили, и работников железнодорожных мастерских, и еще много кого. И всех под суд. Кажется, будь их воля, они бы всех, кого германцы не побили да к себе не угнали, по советским лагерям гнить отправили бы. Батюшка наш так и не дожил до суда в тюремном смраде, к господу и отошел, и похоронить его по-людски не дали, где-то в общей яме закопали.

Осиротела наша церковь, да и село закручинилось, и беды разные, как прусаки, из щелей повылазили. Не знаю уж, чем бы это все закончилось, не объявись вскорости новый Иоанн. Собственно говоря, не объявлялся он вовсе, его два наших охотника на одном из островков, что на дальних болотах, зимой от волков отбили. Волчья-то после войны по лесам расплодилось тьма! И особые, надо сказать, это были волки, они более на человека охотились, чем на зверье, и не все огня и выстрелов боялись. Говорят, это оттого, что как Советы, а потом и немцы отступали, много очень конвойных овчарок побросали, вот они-то, на людей натасканные и к выстрелам привычные, посбивались в стаи, ушли в леса, с волками помешались и породили самых что ни на есть душегубов. Вот от такой стаи сельчане и отбили исхудавшего незнакомца, что на островке вырыл себе землянку и, почитай, два года там хоронился от недобрых людей. В берложку его сунулись, а там и иконы божьи, и книги церковные, и ризы какие-никакие.

Странник их отварами для сугрева потчевать принялся, расспрашивает, что в мире да как, все говорит, говорит, видать, соскучился по людской-то речи, но как предложили ему в село перебраться, насупился и отказываться стал. Однако, слава богу, кое-как уговорили и пожитки его на волокушах перетащили. Вот так и появился у нас второй отец Иоанн, и церковь ожила, и село расхмурнелось. Вскорости и он к нам привык, и мы к нему. Благодатный оказался батюшка, сходом мы его настоятелем нашей церкви и поставили. Где-то года через полтора, как мирная жизнь стала налаживаться, отпросился у нас отче на недельку в отлучку. Зачем и куда ему надо было, он не сказывал, а мы и не спрашивали. Уехал батюшка, бабы ему в спину повыли, а крепкие мужики порешили: ежели не возвернется полюбившийся нам поп, ждать чужого не будем, а соберем денег и попросим областное церковное начальство, чтобы нам рукоположили священником нашего местного мужика Василия, что исполнял уже лет десять разные церковные дела. Он и пономарил, и за дьякона ладаном кадил, и просвирки с батюшкой и Парфеновной пек, и церковь охранял да обихаживал.

Однако вернулся наш батюшка. Мы уже все изотчаялись, поди, месяц прошел, как уехал. Хорошо хоть не помер никто в селе и без отпевания хоронить не пришлось. Обрадовались. А батюшка грустный, и в одеже его перемена какая-то наступила. Судили-рядили, пока сам отче на воскресной проповеди перед миром не исповедовался. Оказывается, ездил он куда-то далеко, в глубь России, где давным-давно, еще до ареста, служил в одном большом храме. И вообще, оказывается, он из старинного попьего рода, за что и сидел при Советах,

почитай, сызмальства по разным лагерям. Так вот, осталась у него в том городе матушка, то есть жена и двое деток, вот их и поехал отыскивать отец Иоанн. Но не нашел, жену еще до войны в НКВД сгубили до смерти, а деток под чужими фамилиями по детдомам да приютам разослали. Как на болоте, сомкнулась ряска, и никаких тебе следов, а сам он числился сбежавшим к немцам, вот такая юдоля.

Но мир не без добрых людей, сыскался какой-то старенький епископ, который исхлопотал его с началом войны из застенков и направил в один храм соседней с нами области, оттуда и забрел отец Иоанн на наши болотины после того, как село и церковь сгорели. Все это владыка подтвердил, после чего постригли отца нашего в иеромонахи и официально определили на служение в нашу церквушку. Ну и слава богу, да и нам радость, уж больно он всем по сердцу пришелся. Так мы вместе более чем пятьдесят лет и прожили. Почитай, все село обновилось, и все Иоанном крещены, старое кладбище разрослось, скоро за дорогу переберется, и все Иоанном отпеты. У нас в селе безбожников или там каких сектантов отродясь не было. Отцовских мы заветов держались, да, видать, и наше время пришло. И болота высыхать стали, и молодежь в города потянулась, где-то вскорости после первого спутника к нам радио, а потом и свет протянули. Чудно сперва без привычки было, но к доброму быстро привыкаешь. И чем больше становилось у нас достатка, чем больше телевизоров и машин с мотоциклами, тем нелюдимее делались люди, тем чаще в стакан заглядывать стали, а там и другие беды набежали. Ежели что и держало село миром, так это старики и церковь. Может, где и по-другому было,

а у нас так. Даже в дурные хрущевские годы, когда и те немногие церкви, что пооставались, стирали с лица земли, обращая в мастерские, склады солярки и удобрений, у нас не сыскалось ни одного изувера, который бы полез на церковку сшибать крест. Мы как прослышали, что у нас божий дом разорять будут, все из церкви по домам разобрали, батюшку, как при немцах, в лесах запрятали, молодежь пошла и дамбу разорила, дорога прервалась, но все же безбожная комиссия на тракторе пробилась к селу. Тогда с десяток стариков и баб в церкви заперлись со снопами и вязанками хвороста и оттуда приезжим заявляют: «Подходите, люди добрые, немец нас не пожег, так вы уж, сделайте милость, спалите нас, отсталых, нам-то без церкви все одно не жить!» Шуму было! Попа бросились искать, без попа какая церковь, а его нет. Пропал поп! Участковый комсомольцев сагитировал, в лес повел искать, да так наискался, что чуть было сам в болоте не утоп, фуражку свою потерял и наган.

Вот такие у нас, значит, страсти были. Самого попа в путах, почитай, неделю держали, тот все норовил в село убежать, чтобы не дать людям мученическую смерть принять, а все сотворить самому, одному сгореть за людей да веру, как когда-то сгорел протопоп Аввакум. Не вышло по-начальничьему, отстояли и церковь, и попа. А кругом форменную пустыню утворили, церковки, что еще теплились, позатворяли, иконы пограбили, святыми чашами в сельсоветах водку глушили.

Нет, мил человек, все в этом мире от человека зависит, никто Беларусь, кроме нее самой, не погубит. Не чужих — своих бояться надо.

Но время, оно все крадет, давно ли я по девкам женихался, а теперь уж, гляди, и хожу с трудом. Стал и наш поп дряхлеть, шутка ли, уже девятый десяток пошел, и решило начальство церковное ему замену прислать, мы и не противились, своих-то все одно не было. Да и кто знал, что в большой-то жизни, там за болотами, все с ног на голову встало. Уж от кого, от кого, а от большой церкви обиды для нашей махонькой церковки мы ожидать ну никак не могли. Говорят, более семисот годов нашему селу, и всегда в нем церковь была, встарь все больше деревянная, горела, говорят, часто то от свечки, то от молнии, а вот уже, почитай, триста лет, как каменную, нонешнюю, выстроили. И вот появился у нас отец Герман, и Бог ушел из нашей церкви.

Почему ушел? Может, обиделся, а может, испугался, кто знает, только перестали и мы в церковь ходить, особенно после того, как батюшка наш, Иоанн, преставился, а Герман умудрился его за десять минут отпеть и велел на кладбище нести. Зароптал народ, ослушался попа и, как умел, совершил полный чин отпевания, а за священника всем миром положенное читали. Похоронили мы своего батюшку на красивом месте, над могилой часовенку поставили, иконы старинные, какие новый поп не успел еще на реставрацию в область вывезти, туда снесли, там и спасаемся, правда, пока без исповедей и причастий. Не идти же в сам деле к стриженому и табаком воняющему новодельному попу, который раза два в месяц наезжает с какими-то девками, чтоб в бане попариться да от старосты церковного денег истребовать. Мы на него дивимся и никак в толк не возьмем, поп ли это или бандит какой с большой дороги. Письма епископу писали, он комиссии присылал.

Только комиссии эти к Герману ездили, а не к нам. По-германовски мы всей деревней в раскол ушли, а главное, толику малую ему не несем. Недоборы у него через наше село образовались. Какие-то начальствующие, правда, без ряс, приезжали. Собирали нас, даже в набат били, да мало кто пришел, а кто и собрался, так больше из любопытства. Ночью язык у большого звона изъяли и в потаенное место спрятали, чтобы попусту пришлые люди небо не беспокоили.

Вот так мы, мил человек, свое доживаем. Одно радует, что самому недолго осталось небо коптить, да и надежда теплится, что не последним солнечным человеком на земле нашей славянской батюшка Иоанн был, а вдруг как и сподобят нас третьим его пришествием…

Тем и стоим, тем и стоим…

По чернику

— Ложитесь спать, лиха матри вашу! — кричала бабушка Ева, вешая на частокол вымытый подойник, — завтра с коровами подыму, по чарнику пойдем, лежабоки и гультаи, каб вас пранцы зъели!

Мы, глотая смех, начинали дружно храпеть.

— Во уж я вам! Пагляжу, як вы на золку похрапитё! — неизвестно, что бы еще нам, четырем ее внукам, пришлось выслушать от любимой и строгой бабули, не угляди она на улице свою закадычную подругу и соседку — бабу Аделю. Моментально забыв про внуков и завтрашний поход, бабушка, вытирая руки о передник, подалась со двора.

О дружбе, о взаимной любви и смертельных обидах соседок, сплетниц, гадалок, закадычных выпивох, непревзойденнейших матерщинниц и мастериц на все руки надо повествовать отдельно. Соседские отношения в деревнях на Могилевщине того стоят.

В тот вечер наша внучья команда угомонилась на удивление быстро, каждый отнес это, скорее всего, на счет наговоренной бабулей соли, в которую мы за ужином усердно макали свежие и еще колкие от попурышек огурцы.

Разбудили нас рано, но коров выгнали, видно, давно. Солнышко висело уже высоковато и только над станционной канавкой да сажелкой (ставком) висел неплотный туман.

Собрались быстро, благо, основные приготовления были совершены накануне. Наскоро перекусив «яешней са шкварками», попив еще теплого молока, мы двинули небольшим табором, состоящим сплошь из женщин и детворы, через железную дорогу, туда далеко, за «шашу», что грунто-щебеночно петляла по лесам из Чаус в Могилев. По этой дороге когда-то отступал Константин Симонов, оставив в вечности своего несломленного и бессмертного Серпилина.

Мы шли в Антоновский лес, черный и нелюдимый от густых вековых елей. Местами еще не спала роса, наши следы на траве оставались темно-зелеными тропками, как поврежденный снег на зимней целине. Пройдет немного времени, поднимется выше солнце — и они исчезнут. Природа, как и сама жизнь, не терпит в себе чужого следа.

Еловый лес почти не имеет подлеска. Немного пройдя по наторенной дороге с вечными мутно-глинистыми лужами-колеями, мы вступили в сумерек ельника — царство мхов, кореньев, каких-то широколистых растений, белесых лишайников, ползущих по голым нижним веткам и взбирающихся вверх по северным сторонам толстых деревьев. Кругом стлались густые заросли уже обобранного черничника. Это был другой, непривычный для нас лес, мы жались поближе ко взрослым и старались говорить негромко. Незнакомое всегда пугает. Многообхватные ели росли друг от друга на почтительном расстоянии, постелив

под собой толстые ковры, сотканные из маленьких рыжих и острых иголок. Вскорости наш отряд как-то незаметно распался, и утреннюю дрему нарушили первые крики «а-у!». Каждая семья, звеня пустыми бидонами и ведрами о прутья и мелкий кустарник на небольших солнечных прогалинах, спешно ломанула на свои, только ей ведомые делянки и минут через двадцать емкой ходьбы, приняв позы подмосковного огородника, все прикоснулись к самой таинственной и древнейшей из охот — собирательству.

Бабушка строго-настрого запрещала есть ягоды, считая, что это расхолаживает человека и потворствует утробному эгоизму. У нас для ягод были припасены большие литровые алюминиевые кружки и два трехлитровых эмалированных бидончика. Ягода детьми собиралась в кружки и уже потом пересыпалась в соответствующую емкость. Вековой опыт показывал, что так для ребенка было сподручнее, а главное — в случае опрокидывания емкости — потери невелики. Сначала наполнялись бидоны, которые, чтобы их не потерять, пристраивались на какие-нибудь покрытые мягким мохом пни или буреломины, затем по две-три кружки каждый должен был сдать в бабушкин общак — двенадцатилитровое ведро, ну а уж потом объедаться сколько твоей душе угодно.

Конечно же, мы объедались ягодой еще до первой кружки. Особенно вкусной здесь была земляника, по-нашему — суницы. Не знаю, как вам, а мне белорусское название нравится больше. Вообще, по своей образности, емкости и поэтичности белорусский язык, на мой взгляд, находится на одном из первых мест среди славянских языков.

Так вот суницы росли на небольших солнечных проплешинах, может, вырубках, может, старых пожарищах, в высокой, уже местами подсыхающей траве, на небольших купинах. Разгорнешь траву — и вот они, огромные, темно-бордовые ягоды, напоенные соком девственной земли, напитанные ароматной сладостью солнца, висят готовые от любой неосторожности пасть наземь. Однако с этим лакомством очень часто гнездилась и смертельная опасность — гадюки. Они, как известно, тоже слывут большими любительницами понежится на солнышке, да еще в таких сумрачных местах. Так что глаз да глаз надо было иметь. Палкой, незаменимой для леса, особенно не помашешь — ягоды посшибаешь. Вкусную ягоду ел только отважный и осторожный. Но не у всех они, эти отваги да смелости, наличествовали, тогда в ход пускались маленькие хитрости: заметив в траве вожделенные гранатовые сгустки, следовало изрядно пошуметь и, убедившись в отсутствии шипящих тварей, собрать драгоценные — ягоды, выложить их сверху своей кружки для показа, а наиболее переспелыми измазать перекусанное комарами лицо, особенно губы — дескать, уелся по не хочу!

И вот бидоны, и ведра, и кружки наполнены черными, лоснящимися на свету крупными ягодами, да еще из снятых с себя и завязанных маек выглядывают головки крепких грибов, и, вестимо, на верху боровики. День удался. Все сгруживаются вокруг бабушки и, подослав под себя ставшие ненужными куртки и стеганные кабатики (это такие безрукавки, перешитые из старых телогреек) оголодавшие щенята с нетерпением ждут. Бабушка медленно развязывает опоясывающий ее

шерстяной платок и, размотав его, достает завернутую в чистую холстину и бумагу еду: черный хлеб, сало, сваренные вкрутую яйца и спичечный коробок с солью, помятые перья зеленого лука. Все это моментально пропадает в наших голодных глотках. Остатки еды, крошки и щепотку соли оставляются на каком-нибудь заметном месте для лесовика в благодарность, что не заблудил и дал достаток на зиму.

Показаченные

Андрей Селява спешил. Солнце еще не встало, но восток, уже напитавшийся светом будущего дня, гнал прочь блеклые тени прошлой ночи. С Днепра натянуло тумана. Андрей украдкой прошмыгнул поросший травой проулок, подкрался к своему забору и с радостью увидел перекинутую им еще вечером через высоченный тын веревку.

«Добра, что веревка на месте, значится, батька ночью в этот угол сада не ходил и на сеновальчик мой не лазил, — подумал парень, ловко карабкаясь вверх. Уже встав на внутреннюю перекладину забора, он оглянулся и замер. Над белым безбрежным морем тумана, словно небесное чудо, гордо возвышался Могилевский замок с куполами, звонницами храмов и костелов. Лучи еще невидимого солнца уже играли в золотых крестах. — Боже ты мой, Боже! Уж коль явил ты мне эту красотищу, то и помоги мне в разрешении планов моих. А, Господи?» — парень трижды перекрестился. Проворно соскочил с забора, смотал веревку и ловко взобрался на еще не дометанный стог сена, поверх которого он соорудил себе временный будан вроде шалаша. Припрятав веревку, Андрей весь обратился в слух.

Казалось бы, сонная, накрытая туманом усадьба уже давно проснулась и жила своей, столетиями заведенной жизнью. Сотни звуков и шорохов свивались в некую замысловатую, слабо понятную спираль, перетекали друг в друга, неожиданно замирали, вроде как растаяв в набухшем влагой воздухе и вдруг вновь воскресали где-то совсем рядом. Хотя человеку неместному они были и непонятны, да и неслышны вовсе.

Андрей по этим малым шорохам пытался определить, что там сейчас происходит, на широком дворе перед их хатой. Судя по всему, мать уже давно подоила корову и прежде чем выгнать Рябуху за ворота, обметала ее пучком какой-то наговоренной и освященной травы. Отец что-то перебирал в своей пристройке и смолил самосад. Смрад от батькиного курева стаял такой, будто татары запалили свои кизяки и собираются смажить конину. Бабуля Феня и жена старшего брата Костуся, Марыся, собирали на стол, стукая глиняными плошками и деревянными ложками. Летом в доме ели редко, только что по большим праздникам, да когда нагрянут почетные гости, а так трапезничали прямо в саду под навесом, здесь же дымилась и печь-времянка, от которой уже вовсю разносился пах жареной на шкварках яичницы.

На мягком, словно перина, сене Андрея потянуло в сон. Привычные дворовые звуки, которые он только что жадно ловил ушами, пытаясь разгадать, постепенно уплывали в сторону, пропадали, растворялись в тумане. На их место из того же тумана вкрадчиво вползал тихий и нежный шепот Яни, казалось, еще немножко — и ее горячие, как полуденное солнце, губы коснутся его напряженной ожиданием щеки. Парень с трудом ото-

рвал голову от подстилки, сел, помотал головой и, засунув в волосы пару сухих травинок, нехотя спустился на землю. Почесываясь и потирая глаза, он побрел к столу.

Бабуля глянула на внука не то сочувственно, не то осуждающе, покачала головой и, что-то пробурчав себе под нос, продолжила заниматься своим кухонным делом. Швагерка еле себя сдерживала, чтобы не засмеяться, глубже нагнулась над корытом, в котором запаривала еду свиньям. Мати, похлопав корову по бочине, выпроводила ее со двора. Застоявшаяся за ночь животина с независимым удовольствием влилась в размеренно шагающее по улице стадо. Мать тоже не преминула сокрушительно покачать головой и погрозила ему пальцем.

«Да что это они на меня собак спускают, — взвился внутри Андрей, принимая на свой лад молчаливое осуждение родни. — Все на что-то намекают, будто в чужом саду застукали. Ну их, хай себе думают что им захочется. Можно подумать, что меня кто-то в чем-то уличил. Да хоть обдогадывайтеся, я все равно спал на сеновалке. Вот и хавайся от них! Не хватало только, чтобы и батька что-нибудь еще высказал».

В этот раз вместо отца все, чего так опасался влюбленный, высказал его средний брат Костусь, который еще жил в родительском доме, а свой достраивал невдалеке и собирался окончательно съехать к Филипповке.

— О, дивитись, хто ето к нам заявился? Сам пан закаханец собственной особой! Ну и як Яночкины ласки, брате? Поделись со старшим брательником, мот чем дельным подсаблю.

Андрей оторопел, потом хватанул стоящее у прясла коромысло и, не произнеся ни слова, зло пошел на брата.

— Эй, когуты! Охолоните! — беззлобно, но требовательно остановил их отец. — Ишь ты их, на батькиным гумне вздумали бойки устраивать. Я от счас уши вам надеру, да и осоку за Днепр косить спроважу. Дождался, сыны один на однага з дрекольем пошли. Вунь за стол сядайте, солнце ужо взошло, а мы тут лодырничаем. Давай, матка, зави усих на сняданак.

Прочитали молитву, отец благословил трапезу. За столом говорить было непринято, можно только отвечать на вопросы главы семейства. Дом у Селявы считался зажиточным, так что за стол с семейными, работниками и невольниками садилось человек двадцать.

Неволя на Литве, как тогда еще звали нынешнюю Беларусь, была намного легче господствующего вокруг рабства. Она, эта самая неволя, могла быть вечной или часовой, временной. Глядя, как тебя, бедолагу, продавали на Быховском рынке: навсегда — это уж, тебе, брат, не повезло, тут уж ни бога ни совести, все зависело от воли хозяина. Может он и отпустить тебя, может и перепродать, а может и членом своей семьи-рода сделать. Но из всей этой суровости было одно незыблемое исключение: если про твои мытарства узнала родня, поднапряглась и прибыла с выкупом, то не отпустить тебя, по всем действующим в ту пору законам, никто не мог. Возникали, конечно, трения сторон по вопросам цены, но, как правило, они, в конце концов, улаживались, и невольник получал полную свободу. Только вот не всегда он радовался этой свободе, а иногда и вовсе не спешили невольник или невольница возвращаться назад в Московию. Свобода она, вестимо, дама со странностями.

А еще в Могилеве продавали в неволю на время. Это прямо при совершении сделки и оговаривалось,

дескать, я, такой-то, продал такому-то бабу или девку, полоненую на неприятельской стороне под Вязьмой, за четыре талера и три гроша на три с половой года неволи. По истечении этого времени человек мог быть свободным и сам выбирал свою дальнейшую судьбу: оставался в городе, уходил в отхожие промыслы или возвращался домой.

Но в Могилеве был небольшой невольничий рынок: так — отдельный куток, где людей выставляли среди других товаров. Самым большим, известным и что называется специализированным был подобный базар в Друцке, столице одноименного княжества, к которому в глубокой давнине относился и сам Могилев. Так что невольники за столом у Селявы не были какой-то диковиной. Дождавшись, пока все вышли из-за стола, и получив у отца задания на работу, стали расходиться по своим делам, Андрей, перекинув через плечо вожжи, как-то боком подошел к отцу, который задумчиво раскуривал свою старую, еще дедовскую люльку.

— Бать, а бать, — стараясь придать голосу значимую самостоятельность, обратился к нему Андрей.

— Чего тебе? Ты мне там смотри на покосе не вздумай лодырничать. Все были молодыми, все по девкам шастали, а работу робили, гляди мне, — отец с улыбкой показал ему здоровенный кулак. — Чего тебе? Давай говори, а то вон Костусь ужо вожки ищет, ехать жа надо.

— Бать, ты только не руби сразу свое завсегдатое «не». Послушай, дело серьезное.

— Ну, ну, сурьёзник, давай ужо глаголь.

— Благослови, отец, показачиться! — выпалил одним махом Андрей и бухнулся перед отцом на колени.

— Чя-в-о-о! — взревел старый Селява так, что закричали куры и загоготали гуси. Все кинулись врассып-

ную. Костусь с дугой в руках шарахнулся за стенку сеновала, кто-то, не разбирая дороги, ломанул в сад, мать с ведром застыла на пороге погреба.

— Бать, лучше благослови, а то ведь и так убягу, как некогда ты сосвоеволил! — твердо, с достоинством произнес сын.

— Матерь Божья, заступница небесная! — взмолилась мать и, опрокинув пустое ведро, бросилась к сыну. — Охолони, отец! А ты чего удумал, поганец, никак жениться…

— Какой там, мать, жениться! Енто он и без родительского благословления творит! Того гляди с Янькой Бадриловской байструка нам в хату принесут! Он, мать, — лицо старого Селявы побагровело, — он, он показачиться вздумал.

Мать охнула и повалилась на землю. Теперь уже испугались все и бросились обратно во двор. Отец и сын наклонились над упавшей. Текля была безпритомной. Брызнули водой. Развязали платок, под голову подложили какую-то свернутую овчину. Мать пришла в сознание быстро.

— Ах ты, негодник! — Текля рывком вскочила и, сорвав с плеча сына вожжи, принялась ими охаживать свое любимое чадо. — Да я ж тебе сама вось гэтыми руками забью! От я табе наказачу! От я табе нарабую людей! Во гора так гора у хату. Это где ж ты розум свой покинув? О гора нам так гора! — женщина, обессилев, откинула вожжи. — Что ж ты, Селява, глядишь на меня, як конь? Адлупцуй яго, чтоб на сраку неделю сесть ня змог!

— Позна ужо, старая, лупцавать, вырас нам на гора и позор сынок, — старик пытался по новой раскурить трубку. — Во халера. Чаго, чаго а этокога от тебе, сыне,

не ожидал. Пойдем, мать, и вам неча тутатька стаять, работы вон полны двор.

Все молча стали расходиться, скоро во дворе остался один коленопреклоненный Андрей. Из-за сеновала вышел брат с дугой на шее.

— Ну ты и придурок, брательник, нашел на што благословляться. Што, совсем головой тронулся от своей Яньки? Какое тут у нас у доме казакавание? Давай ужо вставай да поехали за Днепр, что тата наказал, трэба делать, к вечару и батька, и мати трохи отойдут, за вячерай и погутарим.

У старого Селявы было семеро детей: три дочки и четверо сыновей. Как-то первыми родились два сына, потом пришла Божья немилость и четверо деток, три мальчика и девочка, родились неживыми или помирали, не прожив и трех дней, так что ни покрестить, ни дать имени бедолагам не успевали, оттого и в семейных поминальниках они не значились. Ох и молились все — и по монастырям, и по колдуньям ходили — сжалился Бог, уж неведомо какой, старый или новый, но понесла после долгого времени Текля и родила хлопца, назвали его Костусем, потом подряд трех девок, и последним родился Андрей.

Скрипела телега, братья ехали молча. Первым заговорил Андрей. Зоговорил с обидой, с надрывом.

— Ну а никак я в розум свой не могу взять, чего они так на меня взъелись. И главное, и батька, и матка! Ну что я такого особого попросил. Показаковаться, так у нас что ни месяц — кто-то казакуется. Вун у начале лета хлопцы с Лупалова казаковались.

— Ну, казаковались, — как-то нехотя отозвался Костусь, — аж двадцать пять человек сватажились и

только трое побитыми назад возвернулись, а остальных кого посекли, кого в полон пахапали.

— Ну, знаешь, эт как каму подвезет. Тут она судьба, — попытался возразить младший брат. — Лупаловским и впрямь не повезло, а вун бондарям и ружейникам, что в прошлую осень ходили, подшансило, и скарб немалый принесли, и полон большой пригнали, и сами все живые вернулись. Вот Бронька Казарята и собирает ватагу, он-то горобец стреляный, ужо раз пять за Смоленск шастал. Да и гутарит, что абы-кого брать не сбирается, человек десять, не боле, и чтоб на конях. Не за полоном и рядном мы сбираемся, Бронька талтычит, што место одно ведает, дом барский, не то тамашнего князя, не то хана какого. Пустяшное дело: перебить челядь, забрать пару сундучков да одежонки парчовой — и домой. Ночь идем, день в лесах да оврагах хоронимся. Если все добро ляжет, то тремя неделями и управимся.

— Дурень ты, Андрейка, ох и дурень. Заманки, они всегда слаще меда. Мы што, галеча какая, вон у семьи какое хозяйство. Я вун скора отделюсь, у таты с матулей только на тябе вся надега: и их на старасти доглядеть, и гаспадарку соблюсти, а ты, як той дейнека, у лихие люди собраусся падаться. Я вон у великакняжским войску паваявау, параниты звярнулся. Добра, што все дабром скончылася. Бать тож весь пасечаны и за веру, и за лихость. Ты его сегодня дужа заобидел, сказав, што он без благославления казачился, а он и не казачився, там другая совсем история была. Ты, видать, пра Паклонского и слыхивать ничего не слыхивал?

— Ну, не чув, а хто это?

— А эт, брате, што ни на есть первый казачий полковник на Литве, ему Московский царь за сдачу Моги-

лева шубу со своего плеча жаловал, соболью, денег дал, и повелел первый беларуский полк казаков набирать и Чаусы с окрестностями под это дело ему выделил…

— Так наш батя оттуда родом, — перебил его Андрей.

— Об том и разговор. Их там в Горбавичах пятеро братьев было, так Поклонский их всех в казаки загнал. Вот так Селявы и стали казаками. Бацька наш убег, раза три ловили и крепко били, но он все равно убег аж в Вильню, а потом, погодя, и домой вернулся. Ужо полка казачьего и в помине не было, да и сам полковник Поклонский назад к королю Жигимонту переметнулся и где-то в Эвропе сгинул. А наша родня чаусская так Казаками звацца и стала, мы только одни Селявами остались.

— Я такого не знал. Бронька говорил, што наш батька знатным был казаком и што чуть ли не Маскву грабавать ходил и вроде как ему наш дед благославленья на это дело так и не дал.

— Слушай ты больше этого балабола. За ним вообще недобрая слава тянется. Брось ты его. Примирись с родителями и девку себе найди толковую, не эту вертихвостку. Пастой, пастой! — замахал руками старший брат, видя что Андрей собрался ему возражать. — Ты к сваёй каханке приди как-нибудь вечерком в субботу.

— Што?

— От сам все и убачишь. Она ж тебя к себе по субботам и воскресеньям не подпушчает, так?

— Дык…

— Индык, от ты сходь, мот потом спасиба скажешь.

До делянки доехали молча, молча весь день работали и уже когда в потемках возвращались домой, Костя вдруг спросил.

— Андрей, а ты знаешь, што у нас были еще старшие браты?

— Як были?

— А так были, табе, видать, па малалетству не расказывали. Первага Рыгора матка радзила рана, яму б сейчас было ужо за сорак. Другога звали Матеям, яго татары звяли яще малым хлапцом. А Рыгорка годов в двадцать заказаковал и сгинул на маскальщине. Одни баять — пасекли яго, другие, што сгнил он в солеварне. Я малым был, кали они в круг стали, побратались, у батьков благословления взяли. В воскресенье в церковь все собрались, абедню атстаяли, потым занесли оружье свое, сложили яго у царских врат. Батюшка малитву над ними прочитал, и паказаченных, и их зброю водой святой окрапил. Рыгорку нашега на атаманство благославил, все на святой книге поклялись десятину от добычи отдать церкви. Вот так, брат, а ты, як дурень, не познав броду, паперся к батьке.

— Так я ж и не знал усяго этога…

— Не знал, так сейчас знай…

СШ № 24

Так уж получилось, что школу я помню гораздо хуже, чем другие картины из моего могилевского прошлого, наверное, мы с ней просто умудрились не совпасть, хотя в течение долгих десяти лет с завидной регулярностью пересекались, но каждый жил своей жизнью, скорее всего, моя жизнь была вне ее стен.

С самого раннего детства меня непреодолимо тянуло учиться. То я пытался ходить в школу в Горбавичах, куда меня не пускали по причине малолетства, то почти всю зиму просидел в классе другой сельской школы в деревне Завожанье, что под Богушевском, там жили мамины родители. Школа была начальной и представляла собой большой деревянный дом, в одной половине жила семья наставников Весяловских, с сыном которых я дружил, а в другой размещался один единственный класс с шестью партами в два ряда, одним учительским столом и двумя грифельными досками на стене. В первую смену здесь постигали премудрость знаний ученики первого и третьего классов, во вторую — второго и четвертого. Ни электричества, ни света в деревне не было, учились при керосиновых лампах. В пятый,

шестой и седьмой классы надо было ходить пять километров через глухой лес в Леднивичи, а чтобы закончить десятилетку, топать приходилось еще дальше — в Асинники, а это километров одиннадцать. Сейчас этих школ уже нету, в Горбовичах школу перенесли в новое здание, в Завожанье школа умерла вместе с деревней, за тридцать лет от почти сотни дворов осталось пять. А с деревней постепенно ветшает, скукоживается и дух народа, его самобытная и ни в чем неповторимая самовитость.

Так вот я тянулся к учебе, а меня все время заставляли получать отметки. Учебу я понимал как навык, который дает вполне осязаемый результат. Учишься свистеть, итог — молодецкий свист; косить — ровный покос; читать — горы книг; думать — свое мнение; верить — добро и сострадание и далее в таком же ключе, а в школьной учебе уже тогда было все с вывертом, нас более учили поведению и послушанию, чем самостоятельности в жизни. В старших классах запоем читал о Сухомлинском и его методе учебы-игры, читал и завидовал.

И все же память хранит тысячи маленьких осколков школьной жизни: солнечные блики на темно-зеленой крышке парты, довольно странного, но удобного сооружения, которое надо было опрокидывать на бок при уборке класса. Парты красились ежегодно к первому сентября и периодически с остервенением мылись, потому что тяга человека к наскальным рисункам и письменам древнее бумагомарательства, и выплескивалась сия тяга на ближайшие подходящие для этого поверхности: парты, столы, стены. Каких только историй ни писалось на них, какие трагедии ни разыгрывались.

Помню белые конусы казенных чернильниц-невыливашек. Нехитрое приспособление, состоящее из усеченного конуса со встроенной внутри воронкой, которая не давала выливаться чернилам, но свободно позволяла перу проникнуть внутрь себя. Даже была такая октябрятская общественная нагрузка — раздавальщик чернильниц, которую я одно время исполнял.

К большой перемене школа наполнялась смачными запахами буфета, и тогда учеба уже никак не хотела влазить в мою стриженую голову. Пятнадцать копеек прилипали к вспотевшей от нетерпения ладошке, но не всегда этот пятиалтынный водился в моем кармане, иногда мама, порывшись в своем стареньком кошельке, выдавала скудный пятак, а это стакан теплого чая и маленькая, не совсем белая булочка.

Из учителей почему-то больше других запомнилась географичка Дыбова, может, потому что география была непременным атрибутом моих мечтаний о путешествиях, а может, потому, что сама учительница была красивой, молодой и часто выводила нас на природу. Вальдман Мария Израилевна навечно вклинилась в память теоремой: «Про Пифагоравы трусы надо-таки говорить раз и навсегда, а хто это не запомнит, тот будет мучительно шукать мене летом, слышите, дети?» Теорему я так и не выучил, а может, просто забыл, а вот «Пифагоравы трусы» ношу и поныне.

Еще помню школьную достопримечательность — худую, подвижную и, по-моему, курящую физичку по прозвищу Керагаз. Если не ошибаюсь, в девятом классе была контрольная, которую я успешно завалил, но получил казенную тройку. Кто-то возмутился, дескать, я поч-

ти все решил, и тройка, а кое-кто вообще ничего — и тоже трояк.

— Он от меня всегда будет иметь свой трояк, — и прямой, как указка, палец уткнулся в мою сторону, — а ты уже имеешь крепкое два вместо той хилой трешки, что я вкатила в твою тетрадь. Ему физика, — и опять указующий перст в мою ушастую голову, — судя по его сочинениям, уже не нужна, вспомните меня, он будет писателем, а вот тебе без Ома с Вольтом не обойтись, потому сам переправь тройку на два, и продолжим наш скорбный путь к запоминаниям, потому как для знаний у вашего класса мозгов не хватает.

Странный инструмент наша память, казалось бы, серая пелена забвения плотно прикрывает прошлое, но пошевели ее немножко — и посыпались, посыпались самые неожиданные, самые забытые образы, звуки, даже запахи — и все, всеобъемлющая власть действительности куда-то уходит, и ты уже там, в несегодняшней реальности, ты видишь себя вроде как со стороны, молодого, наивного, смешного, и вот уже кружится нескончаемое кино твоей прошлой жизни — только успевай смеяться или смахивать наивные слезы.

Пишу эти строчки и все отчетливее вижу наш «А» класс, лица ребят и девчонок, и мне не хочется и боязно встречаться с нынешней реальностью моего прошлого. Может, поэтому я ни разу и не пришел на встречу выпускников, раньше все некогда было, а сегодня уже и некуда: школу закрыли, почему, никто мне толком объяснить не может. Жалко, конечно, я стал писателем, а книгу свою принести и некуда. Растворилась по окрестным школам моя первая в жизни

библиотека. Грустно, и вот стоит угрюмое двухэтажное строение рядом с девятым магазином на улице Белинского, насупилось своими темными и давно не мытыми окнами, но мне кажется, отопри крепко заколоченную дверь — и тебя обступит школьная тишина, чутко ждущая тарахтения звонка, и хлынет теплой невозвратной волной шум перемены, зазвучат голоса и, может, тебе посчастливится услышать в общем гаме и свой голос.

Пора! Пора!

Горе, как и счастье, приходит неожиданно.

Старый Трофим безразлично глядел на сгрудившихся вокруг стола московских стрельцов, облюбовавших его хату для своих еженочных попоек. Подслеповатые коганцы и толстая восковая свеча, прилаженная посредине широкого стола, уставленного разнокалиберными бутылками, чарками и небогатой снедью, лишь слегка освещали лица людей. Косматые, бородатые, в странных, похожих на бабьи одежды халатах чужинцы отбрасывали на стены длинные страшные тени.

«Ровно черти повылазили из преисподней, — осенив себя крестным знамением, подумал Трофим, заворачиваясь в длинный, весь перелатанный овчинный тулуп, — и когда же ты, Господи, сведешь эту напасть с землицы нашей? Почитай, седьмой год нет покоя. Только лихо гуляют окрест. Вон люди бают, что за стенами города ни селян, ни жилья, ни скотины на десятки верст не сыщешь. Псы одичалые рыщут да крумкачи по пепелищам кости людские носят. Боже, боже, за что же мне все это дано видеть и терпеть? Вчерась ввечеру струги приплыли из-под Шклова. Стрельцы и черкесы возра-

довались, бросились к Днепру, думали было, гостинцы царевы подоспели, ан нет — в ладьях свинец, ядра, порохов малость, а остатне — все полон, полон. Поднепровье все уже давно обезлюдели, так они теперь городенских, виленских и полоцких людей ловят, яко зверье, по десяткам веревками вяжут и в струги, в струги, а от нас по прямому тракту на Мстиславль, Смоленск и далее в бескрайнюю Московию. Полон гонят по дорогам, словно скот, больных и немощных бросают в придорожных канавах околевать. А единоверцы ведь, православными себя именуют, в церкви ходят, каются, причащаются. — Трофим вздохнул. — Ох, грехи, грехи наши, сколь это еще будет длиться? — Старик отвернулся к стене и, не почувствовав тепла в своем высушенном работой и временем теле, погрузился в чуткую дрему.

Дом у Трофима был просторным и видным, на высоком каменном подмурке, который возвел его прапрадед, а может, и еще кто-то из более далеких предков, сейчас разве упомнишь? Род их, как говорилось в фамильном предании, уж века два занимался оружейным ремеслом, а отсюда имел уважение людей и добрый достаток. Дом гордо стоял в начале улицы, полого подымающейся к центру города от ветряной башни. На первом, каменном, этаже и в глубоких подвалах дома были сами ружейные мастерские, небольшая кузня, кладовки, слепые каморки для работников. Особой гордостью хозяев было просторное сводчатое помещение с широким дубовым столом посередине, служившим и для артельной работы, и для цеховых трапез, здесь же, в углу, был сложен из дикого камня большущий очаг, имевший помимо кузни свои меха. Неширокие стрельчатые окна давали достаточно света, а в случае напасти

служили неплохими бойницами для ведения огня. До прихода москвитов хозяйство Трофима числилось в зажиточных, а сам он как товарищ мастера оружейного цеха был именитым горожанином и не раз выбирался лавником при магистрате.

Детьми их Господь не обидел, послав четырех сыновей и пять дочек. Два сына и три дочки жили своими домами, предпоследний Бронька попер в дурь, не стал учиться семейному ремеслу, а с детства задружил с книжками, перешел в унию и подался в далекую Европу учиться аж в самих университетах. По редким письмам да пересказам знакомцев выходило, что выбился Бронислав в люди, важной птицей стал и служит нынче чуть ли не при самом гетмане Сапеге. Остальные сыновья, и два зятя, и пять внуков — все при родовом деле остались. И все бы хорошо, кабы не война. В былые-то времена любая баталия только прибыток в дом несла, а нынешняя все подчистую вон вымела и по белу свету разметала. Нет ни достатка, ни домочадцев, да и самого дома, почитай, нет, верхняя деревянная часть почти выгорела еще в начале войны, когда сдавшийся без боя Могилев начали грабить новоявленные освободители.

Царь, Алексей Михайлович, каких только благ горожанам за добровольную сдачу фортификации ни предлагал, а как только город ворота отварил, поддавшись и царским посулам, и уговорам попов, и подметным письмам непутевого Костяна Поклонского, так уж всего сполна изведал. Почитай, за год остался Трофим одинок как перст и гол как сокол. Старшего внука и одного из зятьев свел под Чаусы в казаки все тот же Поклонский, жалованный Москвой чином полковника и получивший за предательство во владения почти всю окрестность.

А месяца через четыре и вовсе беда грянула, лихо-то в одиночку не ходит. Пока Трофим отлучался по делам к куму в Шклов, московиты с татарами подчистую ограбили дом, а всю фамилию с бабами и малыми детками вывели куда-то под Ярославль в рабство. Видишь ли, Руси великой шибко мастеровые нужны! Благо дело, соседи хоть дом потушить успели, хотя кому он теперь нужен, дом-то этот? Бросился было полурехнувшийся старик к епископу Ермолаю, последней надежде и заступнику, тем более что для владыки он был не последним человеком. Сколько от себя, да и от всего цеха он в архиерейские покои добра и денег переносил! Да куда там, назвал его преосвященнейший «литовским человеком» и посоветовал идти с челобитной к воеводе Войкову, а то и к самому Шереметьеву, дескать, оба будут сегодня на обедне. Не получилось с челобитной: ни в храм, ни в какое иное место, где бывали воеводы, его не пустили, а гнали взашей с матюками и побоями.

Постепенно свыкся Трофим со своей бедой да еще и бога благодарил, что дочек да внучат в полон свели. Может, они там хоть как в жизни устроятся, все уж лучше, чем терпеть насилие от пьяной солдатни и казаков Золоторенко. Будь они все неладны! А москали лютовали, особенно если им кто хвост прищемлял. Глядя на их зверства, душу терзали сомнения, люди ли это? Божий ли образ носят на себе? А самым тяжким было стоять с ними в церкви и глядеть, как они умиленно каются, замаливая свои изуверства. Иные прям перед церковью руки от крови в снегу оботрут — и на обедню, да еще и к чаше норовят первыми подойти. Года три уже как Трофим в церковь не ходил. Здесь, у себя в подвале, божницу соорудил и молился, словно раскольник какой.

С год как повадились к нему на пожарище ходить пьянствовать стрельцы. Поначалу страшно было, да стерпелся. Так уж устроен, видать, человек, что ко всему привыкает, и как бы плохо ни было, страх того, что может быть еще хуже, заставляет терпеть нетерпимое. Одичалые, немытые и всегда пьяные вояки не обращали на него никакого внимания, только иногда толкали палками и гнали разводить огонь в очаге, благо, дрова все еще были рядом, на втором этаже. Зато утром, когда непрошеные гости убирались вон, на столе всегда оставались объедки, а то и пару глотков выпивки. Старику этого хватало.

Трофим услышал, как завыло в трубе и громко застучала полусорванная ставня. Первая февральская ночь выдалась морозной и ветряной. Не дожидаясь тумаков от весело ржущих ратников, старик вылез из своей норы и, шаркая стоптанными бурками, поплелся за дровами.

«Ну, погодите, буде вам скоро, ой буде!» — подумал и испугался — а ну как услышат окаянные его мысли.

Дрова занялись быстро и весело затрещали в настылом камине.

— Эй, польская скотина, поди сюды! — обернувшись в его сторону, позвал молоденький стрелец, видать, из вновь прибывших. Видя, что старик никак не реагирует на его приказ, молодец, громко икнув, стал выбираться из-за стола.

— Уймись, голуба, старый глухой, да и не поляк он! — хлопнул напарника по плечу и, усаживая на место, произнес служака Орефий, года четыре безвылазно служивший в крепости и, видать, с этим уже свыкшийся. Иногда, напившись, он плакался Трофиму на свою

горькую долю и просил похоронить по-людски, когда его убьют в этом чужом и ненужном ему городе.

— А хто ж он? — продолжая икать, все еще косясь на старика, удивился новобранец.

— Литвин, такой же православный человек, как и мы с тобой.

— Как православный? Батюшка нам в Смоленске говорил, что они ж все католики и жиды, а християнскими…

— Да брось ты его, — перебил новобранца старожил, — сбрехал твой поп! Давайте-ка, друже, лучше выпьем! Скверно на душе, ой, братушки, скверно. Что-то не так, не так, чует мое нутро. Кажись, измена царевым людям зреет. Уж больно покладистыми последнее время сделались горожане, даже смутьяны в остроге и те буянить перестали. Не к добру это, эх, не к добру.

— Буде-то каркать, Арефа! Затишье на войне. Войска большого поблизу нетуть, разве что шиши по лесам озорничают, так оне в город не сунутся. Куда им с их рогатинами! А мещане притихли, так их, почитай, уже и нетуть в городу, посекли да и повыводили. Так нечя тут зазря-то напраслину гнать. Вот отсидимся до весны, а там и домой мот отпустят, хоть на месячишко. Каково оно там, на Руси? Вот за энто давайте, друже, и выпьем.

Трофим чуть было не ссунулся в очаг от услышанного. «Неужто кто из горожан протрепался? Если так, ох и беда будет, лютой будет беда», — осторожно глянув на пирующих, старик ничего особенного в их поведении не заметил. Пьяные как пьяные. Подбросив пару поленьев, он поплелся в свой закуток. Завернувшись в овчину, стал внимательно вслушиваться в пьяный разговор, а в голове вертелась и вертелась одна и та же мысль.

«Знамо дело, тяжкая штука такое долго держать в секрете, всякому платок на роток не накинешь, да разума своего не пришьешь. Почти все взрослые горожане уже с месяц знали, что десятого февраля по кличу бурмистра Левановича следует кончить русский гарнизон. Затворить ворота и поднять над ратушей стяг Великого княжества Литовского. А там что будет. Уж лучше, чем медленно дожидаться, пока тебя зарежут, как барана, или как безропотную скотину уведут в рабство».

Трофим был одним из зачинщиков этого рискованного дела, и пьяные страхи стрельца не на шутку его встревожили.

«Надо бы поутру переговорить с Язепом да и надежными друзьями. Упускать такой шанс нельзя. На безумство наши помярковные решаются редко, а если решаются, то обратного хода не дают», — старик осторожно раздвинул доски своего лежака и нащупал прохладную рукоядь тяжелого боевого топора. Надежного и верного оружия, постепенно вытесняемого мушкетами и ручницами. Близость срои успокоила, сердце застучало ровнее и, как ему показалось, менее громко. Незаметно пришла и зыбкая дрема.

Стрельцы так упились, что даже не пошли утром на башню демонстрировать начальству свое служебное рвение. Трофим спешил поделиться своими опасениями с товарищами. Спрятав под одеждой короткий корт, он с презрением обошел валявшихся у очага вояк, остановился у сгруженных в углу ружей. Оглянулся на спящих, вдруг как будто что-то его толкнуло изнутри. Старик нагнулся к оружию и профессионально, как и подобает ружейному мастеру, выщелкнул из замков кремни. Мгновение подумав, он сунул пять оправлен-

ных в металл камешков в небольшую печурку сбоку от очага. Опытные рейторы часто осенью или зимой вытаскивали из своих мушкетов огнива и держали в сухом месте для пущей надежности. Так что ежели хватятся и напустятся на него с пристрастием, можно будет показать, где камни, и как-нибудь отвертеться. Еще раз глянув на врагов, дед вышел вон.

Утро выдалось на редкость ярким. Застуженное ветром солнце казалось кроваво-красным, как на закате, и с явной неохотой вылезало на небо из своей заднепровской морозной дали. Обезлюдевший город начинал помаленьку оживать. В церквах пономари застучали в биты (звоны, гордость местных прихожан, «освободители» давно уже поснимали с колоколен и растащили по своим уделам). Чуть в стороне мрачно выбитыми окнами смотрел на белый свет ободранный костел, дальше, в глубине, среди невысоких домишек, закопченными руинами грудилась синагога. Евреев в городе не осталось ни единой души. С десяток покрестили, да и тех после татары куда-то свели, а остальных с детьми и пожитками, с согласия горожан, выперли за городские стены и где-то в Печерских лесах их всех до одного порезали запорожцы. Грех темным пятном лег тогда на души многих могилевчан.

Трофим шкандыбал по родному городу. Он любил свой кут, знал его со всех сторон. У города, равно как и у человека, есть в жизни и плохое, и хорошее, есть и свое сокровенное, а иногда и постыдное, которое глубоко прячется и не всякому сказывается. Людская молва именно его далекому предку приписывает хитрость с крепостными стенами. Люд окрестный из стари сплошь был мастеровым, предпочитал более торговать, чем во-

евать. Отродясь даже бедняки в Могилеве в лаптях не ходили — хоть в худой, но в коже шествовали Трофимовы земляки по грешной земле. От лиха норовили откупиться, в магистрате даже специальный сундук с хабаром имелся. А со стенами, — Трофим ухмыльнулся в длинные вислые усы, уже успевшие схватиться добрым инеем, — забавная вышла история.

Теперь уже толком никто и не вспомнит, когда это было, может, при Батории, а может, и ранней, однако, пришло время ладить новые стены. Старые и погнили, и врагами побиты, срам, одним словом, а не городская фортелия. Долго в магистрате рядили-спорили, с чего, а главное, за какие такие гроши все работы исполнить. Вот тогда его предок в купе со своим дружком и кумом, местным гончаром, взялись за месяц обновить половину главной стены, что над Днепром шла. Радцы погалдели-погалдели, однако, денег дали, припугнув, что ежели не исполнят зарок, втройне сыщут. Кумовья наняли ватагу, расселили ее за стеной и затеяли работу, которая кипела и в дни, и в ночи. Что они там творили, горожанам было неведомо, но глины и камней плоских возилось изрядно, а к концу срока по ночам по стене стали солому и хворост жечь. Первое время народ пугался, в набат бил, шутка ли — зарево над городом стоит. По окрестью слухи поползли недобрые, что над Могилевом некие неведомые силы ночами огни жгут и души христианские изводят. Тут уже не до шуток, а кумовья только лыбятся да народ на стены ни с той, ни с другой стороны не пускают.

Однако пришел час предъявлять подряд. Горожанам, кто пожелал, предложили спуститься вниз к Днепру, а весь магистрат во главе с бурмистром разместили

на большой ладье и перевезли аж на Луполовский берег. Дали мастера команду — упали утлые леса и хилые помосты, и открылась всем великолепная белая стена неприступной твердыни. Загалдел народ, закрестился, наземь пал. Попы про бесовство загундосили, а поплечники стоят, ухмыляются. Магистрат затребовал враз на стену идти. Пошли малым кругом, епископа с ксендзом прихватили. Оказалось, умельцы старую стену подлатали, снаружи глиной обмазали, плоские камни в нее для виду вмуровали, обожгли, а поверх известкой побелили. Вот и вышла что ни на есть первостепенная цитадель. Посовещались городские старейшины и порешили: дальше таким же чином обновлять стены, пока в казне денег на настоящие не накопится. Духовенство возвестило народу, что не бесовское сие дело, а промысел Божий, коей и бережет град наш.

Сколько те стены простояли, какие беды своим видом отпугнули, одному Господу ведомо.

«К чему эта старая побасенка мне припомнилась? Были бы внуки дома, им бы баял, а так вот сам себе, как полоумный сказы сказываю. — Трофим остановился у корчмы, что насупленно стояла на самой рыночной площади. Редкие торговки, притопывая на морозце, раскладывали свои товары, в основном снедь и соления. — Да, захирел рынок, как и весь наш Поднепровский край!» — и дед, с досадой толкнув дверь, вошел внутрь некогда самого известного в городе питейного заведения.

В каждой вещи, в каждом доме живет некая неведомая сила, идущая от хозяина. Трофим это хорошо знал по своей мастерской, ограбленная, опаскуженная московитами, она продолжала жить своей старой жиз-

нью, только затаилась, что ли? А вот просторная Лейбова корчма со смертью хозяина лишилась этой силы и доживала свое время неприкаянной кирпичагой, как ни силился дать ей новой жизни Явген, шустрый невеличкий человек из пришлых. В корчме было чадно и накурено. Солдатни утром здесь никогда не бывало, поэтому заговорщики облюбовали это место для своих коротких встреч. Когда Трофим выплыл из белого морозного пара, люди, сидевшие за столом, повернулись в его сторону, а что-то говоривший бургомистр Язеп Леванович замолчал и сел.

— Дак это же Трофим, заходи, брате, какие у тебя вести? — подал голос Рыгор Осковский, подвигаясь на лаве, — иди ужо садись сюда.

— Пан Бог у хату! — поздоровался со всеми оружейник и присел рядом с Рыгором, предварительно скинув с себя драную овчину.

— Бургомистр опасается, как бы наша затея ранее срока не открылась, — пояснил Трофиму сосед.

— Вот и я об том же спешил вам поведать, — поднявшись, начал старик, — сегодня у меня опять стрельцы пьянствовали…

— Да что бы они от этой водки синим огнем погорели! — стукнул со злостью кулаком по столу Сымон-шорник, у которого недели две назад опившиеся стрельцы на потеху изнасиловали старуху тещу, и та, не снеся позора, повесилась в баньке.

— Держись, Сымон, недолго уже осталось, — кто-то попытался успокоить кожевенника.

— Ну и что там стрельцы? — спросил Леванович.

— Да ничего особенного, только вот старый Арефа по-пьяни стал говорить о том, что нечто неладное за-

тевается в городе, чует он это своим поганым нутром, больно уж мы тихими стали, острожные и те буянить да хлеба требовать переста…

Трофимов рассказ прервал страшный душераздирающий женский крик. Народ повскакивал с мест, бросился к дверям и высыпал на площадь. Почти напротив корчмы, на утоптанном снегу сидела молодая баба и, по-звериному воя, пыталась затолкать обратно в себя вываливишиеся наружу внутренности и еще что-то шевелящееся в прозрачном сером пузыре. Рядом стоял здоровенный стрелец в грязно-червоном кафтане и вытирал кривую арабскую саблю о его заскорузлый подол. Пузырь лопнул и, перекрывая весь гвалт, на морозной февральской площади закричал ребенок. И этот крик преждевременной жизни переполнил чашу людского терпения!

Сбелевший Леванович еле слышно прошептал условленные слова: «Пора! Пора!»

Через какое-то время это слово уже гудело грозным набатом над пробудившимся городом, а городской голова, как заведенный, бегал по улицам с длинным несуразным мечом в руке и все выкрикивал осипшим голосом одно единственное слово: «Пора! Пора! Пора!»

По заранее определенному плану Трофиму надлежало идти к арсеналу, чтобы помочь народу разобраться с оружием. Другие должны были бежать к острогу, перебить стражу и выпустить пленных, среди которых было немало умеющей воевать шляхты. Город кипел.

— Трофим! Трофим! Да не крути ты головой, тута я. Иди пособи.

Не сразу старый оружейник понял, кто и откуда его зовет, оказывается, сродник его Адам, распахнув настежь входную дверь, кричал ему из темных сеней.

— Что там у тебя стряслось? Много ли от меня, старого, помощи?

— Ты, главное, иди глянь, того ли мы их?

Трофим вспомнил, что Адаму недавно назначили на постой двух из трех стрельцов.

— А чего же ты сам не глянешь?

— Да робею как-то. Ты же знаешь, я мертвяков спас как боюсь…

— А забил как?

— Да шилом он их заколов, они даже и хрюкнуть не успели, — ответила вместо мужа жена, заматывая в тряпку длинное острое шило с большим медным кольцом на конце. — Такой инструмент испоганил, чем теперь скотину бить будешь?

Три непрошеных гостя словно спали — ни кровинки вокруг, ни смятых борьбой постелей. Только черная, небольшая дырочка с запекшимися по краям капельками крови выдавала место, через которое в сердце вошла смерть.

— Ну что, того? — почему-то шепотом спросил сосед.

— Мертвее, Никодим, не бывает.

— Слышь, Тимофей, а кто и когда их хоронить-то всех будет? Это ж какую уйму народу мы сегодня перебили!

— Да уж, может, тысяч с пять, а мот и боле, — ответил Трофим и зашагал дальше.

Много московских ратников в это утро так и не проснулось, остальных же горожане казнили часов за пять, как и договаривались, в плен никого брать не стали. Исключение сделали только для воевод Семена Горчакова, Матвея Полуэктова да командира стрельцов Са-

фона Чекина, которых, по настоянию шляхты, вместе с неприятельскими хоругвями отправили к королю Яну Казимиру. Тяжелым выдался день.

Тимофей возвращался в свою конуру поздно. Город ликовал и праздновал победу, после стольких лет унижений и скорби во всем Могилеве гуляла бескрайняя радость. Сколько врагов было повержено в этот день, никто считать не стал, да и ни к чему было это. Казнив зло, много жизней сохранилось. Весть о подвиге горожан полетела невидимой молнией по окрестным городам и весям, и не завтра так послезавтра должна будет достигнуть обоих враждующих столиц.

«Вот и хорошо, — думал старый оружейник, — может, и мои там в своих скитаниях порадуются за земляков. А то глядишь, Господь смилуется и даст еще годков сколько жизни, может, и победу увидеть доведется, — старик толкнул дубовую дверь своего жилища. Она была заперта изнутри.

— Что за халера! — Трофим поставил на снег небольшой узелок со снедью, которой разжился в ратуше и с силой толкнул дверь плечом. Дверное полотно отворилось, и его силой втащили в темноту мастерской.

— Так, а вот и дедок с ноготок явился, — поднося когонец к лицу Трофима, произнес Орефа. — Ты куда, гнида, огнива дел? — Здоровенный кулак ухнул в лицо.

«Вот гад, были бы зубы, выбил бы к едрени фени! — подумал старик, сглатывая соленую от крови слюну и огляделся. В просторном покое яблоку негде было упасть, кругом стояли, сидели, выглядывали из боковух московиты. — Да сколь вас здесь набралось?» — искренне удивился старик и потерял сознание от сильного удара в голову чем-то тяжелым.

На холодном заплеванном полу Трофим быстро пришел в себя, но продолжал лежать, не подавая признаков жизни.

— Ваша милость, не надать спешить. Пущай смутьяны успокоятся, хорошенько отметят победу, да и почивать себе с миром улягутся, — убеждал кого-то Орефа, — вот тогда мы и двинем, до ворот-то всего ничего…

— Башни надобно взорвать, все как есть в щепу! Я еще сюда вернусь, они у меня за все ответят! Воры!

— Ответят, барин, ответят! И башенки рванем! Порохов-то там — слава богу! Только вы пока не кричите, а то не ровен час…

— Старика придушите, кабы чего не выкинул.

— Нет, батюшка барин, удушить мы его всегда успеем, а сперва он нам еще послужит, и дорожку покажет, и перед царем об измене городской поведает. Он дошлый старикан.

— Гляди, сукин сын! Что не так — три шкуры спущу.

— Не извольте беспокоиться, барин, все будет путем, — ответил елейным голоском Орефа и, дождавшись, пока начальник отойдет, позвал: — Грязь, Никита подь сюды. Волоките эту падаль в подвал, там где-то справа, кажись, дверь есть. Только не поломите деда, он живым и целым нужен.

Стрельцы не спеша затащили Трофима в заваленное хламом подземелье и, примостив у какого-то разбитого ларя, уже собирались подыматься обратно, как, плотно прикрыв дверь, к ним со свечкой в руках спустился вездесущий Орефа.

— Знач так, молодцы, как дадим деру и будем уже за городом, барина в расход. Тихо так, споткнулся и

шею свернул, кто там в темноте да суматохе разберет. Деда же бережите пуще ока. Мне тут сегодня про его сынка средненького шепнули. В случае чего поторгуемся. Эй, дед, ты уже давно очухался, я знаю. Ты, это, на меня не дуйся, эт тя барин мушкетом по калгану саданул. Он плохой. Будешь меня слушать, мот и сжалюсь, и по-людски похороню.

— Свечу-то оставь, заботник, а то пока бегчи надумаешь, меня тут крысы уже заживо сгрызут, — не подымая головы, отозвался Трофим.

— Знай православную доброту, токи с огнем гляди не балуй! — ржанул Орефа и, приладив свечку на предназначенную для этого полочку у двери, вышел наружу, за ним глухо шоркнул засов.

Полежав минут десять без движения, даже не отгоняя осмелевших крыс, уже с веселым писком засновавших вокруг, оружейник прислушивался к происходящему наверху и обдумывал свое положение.

«Эх, аболтусы, у литвина из подвала путей столько, что до Вильны к утру добраться можно. Но бегчь мне не с руки, да и ни к чему. Вот, Трофим Зеноныч, а ты вечор бедовал, что ни одного гуся московского на вертел не насадил. Вона их сверху сколь, мот душ с тридцать. Хоть откуда у них души-то, с душой-то разве бабу беременную по животу шаблей рубить-то буш? Эх, Матерь Божья Востробрамская! Не погневайся на меня за содеянное».

Старик, пошатываясь, встал, подпер толстым дрыном дверь, взял свечу и пошел в дальний угол своего подвала, там, повозившись с заржавевшими запорами, отворил потайную дверцу в соседнее помещение, заставленное бочонками с порохом. Порох этот он с сы-

новьями втихаря ночами катал из городского арсенала, куда вел всеми забытый старинный подземный ход, а в первые дни оккупации и вовсе осмелели, прилично цапнули. Уже и барыши посчитали. Но, вишь ты, как дело обернулось. Проход этот они позже от греха подальше взорвали. Пламя свечи колебалось, колебался и Трофим. Он знал, что самым страшным врагом решительности являются мысли. Поднял свечу повыше и, найдя глазами разбитый бочонок, подумал: «Ну вот, Орефа, не получилось по-твоему, не ты меня, а я тебя хороню», — и поднес к черным зернам желтоватое пламя.

Почти четыре века минуло с тех времен, все забылось и уплыло в зыбкое болото беспамятства, только проклятие московского патриарха Никона, как высшая похвала мужеству граждан Могилева, до сих пор висит над этим городом.

Самогонка

У этого напитка нет запаха, у него есть пах. Пах самогонки, кто не знает, что это такое, может смело считать, что он впустую прожил свою сытую и, скорее всего, никчемную жизнь. Белоруса без бимбера не бывает, как не бывает грузина без чачи, украинца без буряковки, черногорца без грушки, перуанца без текилы, а американца без виски. И все это великолепие — всего лишь разновидность водки домашнего приготовления, которую варят, гонят, тиснут, пекут и еще чего только ни делают, чтобы она, родимая, появилась на свет и сделала свет этот милее и несерьезнее.

Маленький исторический экскурс. Время появления крепкого спиртного напитка из подручных, подверженных брожению элементов теряется где-то далеко в глубине веков, и подлинных истоков этого процесса мы вряд ли когда доищемся. Россказни о том, что самогонокурение родилось чуть ли не на территории современного московского Кремля в одном из монастырей, — скорее всего досужие байки, так сказать, рекламная летописная страничка для привлечения массовости прихожан. Спору нет, и самогон, и

винишко в наших православных монастырях испокон веков курили, да и не только в православных, и в инославных обителях тоже по этому делу дым коромыслом стоял. Неслучайно на Западе многие элитные и дорогущие вина берут свой исток в почти священном мраке монастырских подвалов. Но Запад Западом, а мы ведь с вами и не Запад и не Восток, мы, как совсем недавно выяснилось, — центр Европы, почти «пуп атлантичес-кой цивилизации». Почему «пуп», а до сих пор все еще в навозе ноги греем? Это вопрос скорее всего риторический и к моей книге никакого касательства не имеющий.

Однако я с уверенностью рискну предположить, что предки мои задолго до московских монахов тешили свое нутро и туманили разум житним напоем. Да и как по-другому быть, когда города и веси нынешней Беларуси, годков, как минимум, на триста–пятьсот постарше Московии. Да и питейное дело в Москве сразу стало казенным, как только Иван IV, по прозвищу Грозный, привез после взятия и разорения Казани на угрофинскую землю понятие «кабак».

В кабаке, в отличие от наших шинка и корчмы, можно было только пить, не закусывая, и брать водку навынос. И все это на неукрепленный еще как следует славянскими генами татарско-мордовский организм. Так что вон еще с каких пор, уважаемые господа патриоты, нынешних россиян спаивать начали и главное — кто! Сам великий из великих, предтеча Петра, Сталина и чуть ли не самого Путина, царь с гнилыми зубами, гнилым телом и не менее гнилой головой Иоанн по прозвищу Грозный, хотя как по мне, к нему подходит более кличка Людожор. До сих пор, насколько мне

ведомо, ученые так и не предъявили миру ни одного клочка бумажки, написанной собственноручно царем, а знаменитая Либерия, библиотека царя, — очередной миф. Зачем, скажите мне, безграмотному книги? Байка про бабкино книжное наследство тоже никакой серьезной критики не выдерживает. Засидевшуюся в Риме в девках Софью Палеолог, царевну уже не существующей Византийской империи, по всей видимости, униатку, сбагрили в далекую и дикую Московию иезуиты с каким-то своим умыслом. Никаких книг из уже давно не существующей Александрийской библиотеки она с собой возами не везла. По свидетельствам современников, Ванюшина бабка Софа была завзятой чернокнижницей, гадалкой и ведьмой, а из Рима привезла с собой с полдесятка соответствующих пособий. Вот и все наследство! Кстати, как и внучок, выпить, говорят, была непромах.

На территории же нынешней Баларуси вопрос производства спиртного напрямую был увязан с вопросами чести, привилегий и личной свободы. Право гнать самогон, как и рыцарское достоинство, надо было заслужить перед Великим князем или королем. Так было и в Украине. До московского подданства казаки и их старейшина обладали правом винокурения, посполитые — нет. «Посполитый» обозначает всего лишь народный, а никак не польский, как у нас многие думают. Так вот, право варить «бимбир» надо было заслужить, а потом еще чуть ли не в бою отстаивать. Может, поэтому и в наших Поднепровских краях было модным чуть ли не со времен Хмельницкого затесаться в черкесы, то бишь казаки. Отсюда, к слову будет сказано, пошла и моя фамилия, до семнадцатого века звучавшая короче и

понятнее — Казак. И вот это некогда завоеванное право личной свободы колобродит и в моем роду, да и во всем нашем народе. Белорусы всегда, при любой власти гнали, гонят и, я надеюсь, будут гнать одну из лучших в мире хлебных самогонок. И делают это не для продажи, а для личного, так сказать, употребления, для самоутверждения своей самовитости и господарства. Одним словом: «Мой дом — моя крепость, где я сам себе государь и государство».

Я не думаю, что мои далекие предки, а уж тем более дед, бабушка, да и отец так сложно подходили к этому простому житейскому вопросу. Они по мере необходимости гнали самогонку, и она у них всегда была. Некогда им было задумываться, что этот горючий напиток — предельная концентрация удобоваримой человеком солнечной энергии, сакральный смысл употребления которой давным-давно утерян.

В моем детстве жита на приусадебных огородах сеяли мало, так — небольшие полоски, «скотине да курам на зиму», — хитро улыбаясь, говорил дед. И все соседи так же говорили, а на задах приусадебных участков буяла и набирала силу будущая брага. В процессе приготовления самодельной водки принимала участие вся семья от мала до велика, впрочем, все деревенские дела и работы, как правило, коллективны. Сначала рожь замачивали, зерна набирали влагу и набухали. Потом их ровным слоем выкладывали на здоровые противни и проращивали в теплом затененном месте. Пророщенное зерно сушилось и после этого приобретало таинственное название «солод». Тогда мне трудно было понять, почему это рожь была зерном, а вдруг стала каким-то солодом,

хотя внешне они мало чем отличались. Я, украдкой от всевидящей бабушки, запускал ручонку в мешок с прошлогодним житом и шел сравнивать его с солодом. Разницы почти никакой не было. Ну, может, чуть растрескавшиеся зернышки с присохшими темными пуповинками и все. Смотрел и недоумевал, почему из этих подпорченных получается самогонка, а из блестящих и красивых нет? Приставать с расспросами ко взрослым было пустым номером. Ответ бабушки Евы на подобные заковыки я знал наперед: «Так хто ж яго ведае? Видать, так трэба». Дед начинал разводить какую-то ученость про белки и крахмалы, а потом, внимательно оценив мой абсолютно тупой взгляд, давал в руки молоток и насыпал на фанерку приличную горку перекоряженных гвоздей. «Иди ужо цвики прямь, химик!» Я нехотя плелся выполнять наряд, а в голове нераспрямляемым гвоздем торчала опаска вечером попасть в помолочную команду.

Солод надо было обязательно молоть, для этого на жерновах был или съемный деревянный круг с более крупной железной набивкой или другой камень, или специальное приспособление в виде клинушка, который регулировал плотность прижатия рифленых камней жернова. На хороших старых жерновах можно было смолоть муку для самых пышных пирогов и блинов. Солод мололся грубым помолом. Каменный жернов вращать было очень тяжело, и мы, малышня, крутили отполированную деревянную ручку по очереди. В Ресте были и каменные, и деревянные жернова. Каменные, настоящие, если верить деду, доставшиеся ему еще чуть ли ни от прапрадеда, потом куда-то исчезли. Может, отдали кому, а может, камень милиция

изъяла в порядке профилактической работы по искоренению самогоноварения. Жалко, мне и сейчас иногда снится этот куполообразный, словно огромный хлебный каравай, серый камень с затягивающей взгляд воронкой посередине. Испещренный по бокам какими-то таинственными отметинами и знаками, вращаясь, он как бы оживлял их, и мне казалось, что я вижу несущихся куда-то всадников, летящих диковинных птиц и неведомых зверей. Снится мне камень и будто хочет что-то поведать такое, чего я без него никогда так и не узнаю. Грустно, и я светлой завистью завидую своему знакомому итальянскому поэту, который живет в доме — ровеснике Рима. А в отдельном сарае у него, как в настоящем музее, хранятся старинные орудия труда его предков, в том числе и целая вереница старых каменных жерновов. Это Европа, а мы все продолжаем жить по принципу перекати-поле. Может, пора остановиться?

Потом солод «забалтывали» и «заводили». Заливали его теплой водой в большой бочке, иногда туда еще добавляли сваренную и потолченную картошку, запускали разведенные в воде дрожжи, сыпали какие-то сушеные травки, все это тщательно разбалтывали специальным длинным и узким веслом — мешалкой. После всех положенных манипуляций и обязательного шептания не то молитвы Божьей Матери, не то старинного заговора, эта вкусно пахнущая субстанция получала громкое название — брага. Брагу «заводили», делалось это просто: в бочку бросали раскаленные в печи крупные камни и укутывали ее старыми овчинами и ватными одеялами. Через какое-то время брага начинала урчать, пыхтеть, одним словом, работать, или «бродить». Ее тоже надо было «доглядать», но детям этого никогда не доверяли.

И вот оно, самое таинственное и сакральное, что называется, момент истины. Вы же помните, древние безапелляционно заявляли: «Ин вино веритас» — истина в вине, а не в примитивном выведывании у перепуганного радиста паролей и предателей в одноименной повести о войне. Всезавершающий этап — «Сегодня ночью гоним!». Тихо с утра сообщалась заветная весть.

Гнали самогонку в бане, ночью, соблюдая все правила партизанской конспирации и светомаскировки. Еще днем в различных мешках в баню доставлялись комплектующие заветного аппарата. Верхняк — огромный чугун со специально вырезанной в днище круглой дырою. Гусек со змеевиком — это специальные трубки, одна изогнутая, как гусиная шея, другая — медная, завитая в кольца. Специально обрезанная, подогнанная под большие чугуны печка-буржуйка с набором жестяных труб. Специальное корыто с отверстием в одном торце почти у самого дна и полукруглой выемкой сверху на противоположной стенке. И наконец, специально коротко напиленные и некрупно наколотые сухие дрова, чтобы горели жарко и без дыма.

Следует оговориться, что все это добро в повседневной жизни тщательно хоронилось от посторонних глаз и вместе никак не пересекалось. Тогда, да и ныне, за хранение таких агрегатов полагалось уголовное преследование. Ох, живы еще в наших государствах замашки Ваньки-людоеда. Нигде в мире за это давно уже не сажают в тюрьму, ежели гонишь, конечно, для себя, а не на продажу и государству не составляешь конкуренцию. У нас же все по-прежнему.

Гнала самогонку бабушка Ева, деду она не доверяла. Не умел он «ни первач увесь узяць», «ни агонь тол-

ком соблюсть», однако при всем этом недоверии, свой первый хозяйский стакан еще теплого самогона дед Никодим получал неизменно.

Собирался аппарат следующим образом. Устанавливалась буржуйка, дымоходные трубы, изгибаясь коленами, уводились в отверстие банной вьюшки. На печку ставился большой целый чугун, в него заливалась отгулявшая и успокоившаяся брага. Сверху на него прилаживался такой же чугун, только с дырой в донышке — верхняк; верхняк гуськом соединялся с помещенным в корыте змеевиком, конец которого выходил из корыта наружу. Все это плотно зачеканивалось чистыми матерчатыми жгутами, хлебной замазкой и глиной. В корыто наливалась холодная вода, зимой набрасывался снег, в печурке разводился небольшой и ровный огонь — и процесс, как говорил генсек, пошел. Да, еще на выходную трубку змеевика повязывалась недлинная ниточка, по которой долгожданная влага тоненькой струйкой стекала в разнокалиберную тару.

Может, у кого этот процесс был налажен и подругому, а у нас так. На бабкину самогонку никто никогда не жаловался, и голова ни у кого с утра не болела.

Первым шел первач — первый из первых, крепкий из крепких, градусов под шестьдесят, его надо было взять до конца и не смешать с рядовой самогонкой. С чугуна брали какое-то определенное количество водки и все, остальная, почти безалкогольная жидкость собиралась отдельно, отдавалась детям или выливалась. Назывался этот кисловатый, но пахнущий настоящей водкой напиток «бориська». Почему так, не

знаю, но свою первую выпивку я начал именно с него. Хотя бабушка Ева нам, внучатам, и первача давала попробовать из маленькой серебряной ложечки, которой и сама снимала пробы.

Прошло более полувека, нет уже в живых ни бабушек, ни дедушек, ни отца с матерью, а я, попробовав года в три или четыре белорусского национального продукта, до сих пор не спился, не одурел, а как-то по-тихому выучился, обзавелся семьей, можно сказать, вышел в люди и вот сижу и слагаю гимн во славу вольного духа своего народа, его древних традиций и неистребимых обычаев.

На том и стоим.

Асфальт и тени

Под ногами лежал странный беззвучный и постоянно движущийся мир, населенный плоскими причудливыми тенями, живущими своей копошащейся жизнью.

Мы часто любуемся их хитросплетениями, но никогда не задумываемся о смысле их немого крика и умоляющих жестов, с которыми они бросаются под колеса наших автомобилей. Как правило, мы не замечаем этого самопожертвования и летим дальше. Тени вне нашего понимания, а может, просто мы, отвергнув в своей гордыне родившее нас солнце, разучились понимать родственные нам души. Люди и тени — дети одного Солнца, одного Света, сотворившего наш мир и иллюзию этого мира, и кто с определенностью скажет, где заканчивается реальность и начинается ее иллюзорность, может быть, тени — всего лишь плоские обложки трехмерного пространства, из которого кто-то временно извлек животворящий свет вечного Светила. Может, тени — единственно доступные нам проводники из одного мира в другой?

Изумрудная, с легкой синевой, почти прозрачная пелена новорожденной летней ночи медленно опуска-

лась на разомлевшую от вечерней неги землю. Готовая к любви, она скинула с себя ненужные лохмотья условностей и, прогнув девственную спину косогора, вожделенно выпятила в небо грушевидную гору, которая резко обрывалась к обмелевшему в это время Днепру.

Костер горел без дыма, и только люди, сидевшие под изумрудным небом, отбрасывали на еще серую сумеречную окрестность извивающиеся в своем вечном танце тени. Нас было много, мы были вдвоем, и вечер переполнялся нашим тихим неспешным разговором, похожим на нежное обнюхивание восхищенных друг другом щенят. Мы сидели рядом и, вдруг одновременно замолчав, с туповатой неотрывностью уставились на живое рыжее пламя.

О чем я думал тогда, не помню, о чем думала она — не знаю, а приставать с вопросом «о чем ты думаешь?» я еще не научился, и это пока не стало привычкой. Мы сидели и почему-то боялись шелохнуться. Хворост, прежде чем превратиться в тлен, с тонким, змеиным шипением выдувал из себя накопленный годами солнечный жар. На изгибающихся тонких цилиндрических телах с темными пятнами подпалин, разрывая струпья серого пепла, то и дело взрывались синевато-бледные протуберанцы. Эти маленькие сполохи, как тонкие язычки газовой конфорки, питали собой большое пламя, окатывающее горячими струями наши окаменевшие от гипнотической пляски огня лица. Там, за дрожащим пологом огня, за темной поймой древней реки, у невидимой кромки горизонта, еще едва различимо теплилась бледная полоска ушедшего солнца. Там лежал вожделенный для Востока Запад. Туда ушел сегодняшний день. Мы смотрели ему вослед, переполненные желаниями друг друга. День уходил, и мы его не жалели, мы еще не знали настоящей цены времени.

О, если бы я тогда мог заглянуть за наши спины! Тени, рожденные нами и огнем, бесхитростно и открыто год за годом предсказывали нашу дальнейшую жизнь.

Будущее у нас за спиной, и мы его не видим. Впереди только прошлое, над которым мы имеем власть, в котором мы можем бесконечно долго рыться, как в пахнущих вечностью лавках букинистов. Перед нами только прошлое да тонкая полоска нынешнего дня. Может, именно это и спасает нас от самих себя, заставляет жить, рожать детей, строить дома, сажать деревья, убивать в себе змею зависти и сомнения, а главное, не думать о смерти — итоге любого будущего.

Я был еще желторотым и только начинал постигать азы одной из древнейших наук, имя которой — социальная проституция. Пройдет немало времени, прежде чем я сам признаю себя профессором в этом хитрейшем из населяющих землю знаний. Юная женщина, надышавшись пылью кулис провинциальных театров, с трудом пережив перехватывающую дыхание любовь к заглавным в театре мужикам, с брезгливостью вытерпев сопящую тяжесть главрежей в гримерках, с опаской и недоумением косилась на робкого молодого человека. Костер неспешно догорал, тонкие струйки сизоватого, растворенного ночным мраком дыма, по-кошачьи изгибаясь, потянулись сквозь нас к клубящейся юным туманом лощине. Озноб уставших от поцелуев и постоянной близости, разделенных лишь летними трикотажными условностями тел постепенно набирал силу флатера, и неизбежное случилось. Два одиноких стона, объединенных древней нечеловеческой силой, влились в вечный рев неиссякаемого потока жизни.

Солнце проснулось раньше нас и осторожно ползало по размягченным усталостью и сном лицам, хотя довольные и о чем-то беспечно улыбающиеся мордки с большой натяжкой подпадали под определение — лицо. В белорусском языке есть очень емкий двойник слова «лицо» — «постыдь». Наверное, тогда солнце со свойственной ему в тех местах нежностью легонько трогало наши постыди. Позабывшие стыд, замысловато переплетясь, мы еще спали, а светило уже выталкивало из-под нас нашу первую общую тень. Первую тень нашего прошлого.

Сегодня в прошлом большая часть жизни.

Асфальт был старым, вылинявшим, сбитым временем и людьми в звенящую окаменелостью корку. Высокие заборы из вымазанного серой известкой ракушечника от яркого крымского солнца казались ослепительно белыми и заставляли щуриться. От множества света, как и от его недостатка, человек почти одинаково слеп. Последние годы я часто во время короткого сна брожу по этим узким уличкам старого приморского города. Вдыхаю его запахи, замешанные на вечном и ничем не перебиваемом терпком аромате теплого моря. До недавнего времени я не знал, что счастье и одиночество имеют одинаковый запах. Оказывается, мое прошлое — это всего лишь питательная среда, своеобразный планктон моего одиночества, и мне остается только ждать, когда оно его дожрет вместе со мной.

На том старом асфальте сегодня живут новые тени, и я уверен, что их опять никто не замечает. Быть может, только подслеповатые старухи, пережившие своих мужей и самих себя, видят на сероватом шершавом камне что-то свое и скалят беззубые рты в размытых годами

и горем улыбках. Я растерянно шарю глазами по знакомым белесым трещинам и выпирающим из пересохшего гудрона камешкам в надежде отыскать среди них хотя бы куцый обрывок нашей общей, когда-то давно рожденной на Днепровской горе тени и не нахожу ее. Тень женщины вобрал в себя застенчивый огонь крематория, моя — нелепо лежит у ног в бледном свете компьютерного экрана.

В оконное стекло, матовое от полной луны, беззвучно бьются чьи-то пугливые тени, я их не гоню, я сижу и разговариваю с ними, более благодарных слушателей я еще не встречал. Я не хочу, чтобы всходило солнце и мир обретал конкретные черты реальности, я с нетерпением ожидаю ответной откровенности забредших ко мне ночных странников. Когда это случится, моя тень тоже пропадет со старого асфальта, и я, наконец, узнаю, о чем, умоляюще заламывая руки, мне пытались рассказать странные плоские существа.

Лазня

У каждого народа есть свои сакральные места. У кого-то это вековые деревья, у кого-то — причудливой формы камни, у кого-то — священные источники, высокие горы и еще много всевозможных разностей. Чем дальше в историческую глубину, тем больше священного, почитаемого и самого важного, помогающего или вредящего человеку. Присутствует этот набор в полной мере и у белорусов. Вряд ли вы найдете, даже сегодня, хоть одну область или район, где бы вам не показали и «лысую гору», и «святую крыницу», и «чароуный камень» и еще много всего такого, о существовании чего вы и думать-то никогда не думали. Однако среди всех этих чудес останется практически неназванным и незамеченным одно очень важное в былом обиходе место. Это баня, или, по-нашему, лазня. Вас туда обязательно пригласят, ежели вы подоспеете к субботе, а может, даже и специально истопят по случаю вашего приезда. Сейчас это стало модным. Тогда, давно, бани в неурочные дни в деревнях топили очень редко и не всегда по добрым поводам.

В моем детстве была рестянская баня, срубленная под старой грушей-дичкой, недалеко от хаты. Она яв-

ляла собой предмет особой гордости деда Никодима и незлой зависти соседей. Надо сказать, что подобные оплоты гигиены были далеко не у каждого хозяина. Кто-то ходил к соседям или родне, кто-то, поддавшись моде, мылся в колхозных банях, по-моему, такие в Горбовичах уже тогда были, а кто-то по старинке мылся в печи. Помню, что мне раза два приходилось в Завожанье подвергаться такой экзекуции, по-другому подобную помывку и назвать трудно. Особенно было страшно первый раз, мне казалось, что меня решили зажарить заживо в огромной русской печи. Ревел и сопротивлялся отчаянно, пока дед Костусь своим примером не показал, как это делается, и не втащил меня каким-то обманом внутрь печки.

Много чего с тех пор изменилось и много различных приспособлений для мытья пришлось повидать по всему свету, а по-настоящему любовь к горячему пару у меня привилась в той самой рестянской баньке.

Вон она, слегка скособочившись, стоит и ныне на том же самом месте. И когда проезжаешь по шоссе из Могилева в Чауссы, мелькнет ее слегка просевшая крыша, да как-то по-особенному щемяще царапнет глаз серым сиротством былой отчий дом. Банька моя, наверное, и сегодня верой и правдой служит незнакомым мне людям, таков уж ее удел.

Вообще, по части сакральных строений Беларусь — уникальная страна, здесь истина и время претерпели столько метаморфоз, что с первого взгляда и разобраться трудно. Вон в центре столичного Минска стоят два кафедральных собора, почти одинаковой архитектуры, красы и великолепия, а верники в них разные, одни католики, другие православные. Иной раз глядишь и

дивишься, как все переменилось, раньше безбожники в церквях клубы устраивали, а сегодня вон церкви в сельских клубах заводить стали, а народу все одно, ему до фонаря, куда по воскресеньям ходить и кого от скуки слушать, партийного агитатора или слегка трезвого попа. Чего уж тогда удивляться особой ретивости отдельных церковных активисток, все норовящих научить вас, как свечку ставить, как в храме стоять, как в нем ходить, а главное, в чем заходишь к Господу помолчать, не дадут, затуркуют, замордуют. На них, главное, не обижаться, старушки эти до нынешнего, религиозного актива были комсомольскими активистками и никакого бога в упор не знали и знать не хотели, а их бабушки и дедушки в свое время эти самые храмы закрывали и устраивали в них танцульки, так что все возвращается на круги своя.

Однако бог им судья. Вернемся мы к нашему вечному сакральному храму — баньке. Почему баня объект мистический, говорено уже много и даже слишком. Однако в моем детстве еще были отчетливо слышны отголоски той великой земледельческой культуры, на которой по большому счету и доныне стоит современная цивилизация. Сельская детвора по части этнографии, демонологии и магии была подкована получше нынешних телеколдуний и отдельных ученых. Даже самый последний двоечник в деревне знал, что в бане не всегда творится доброе, а посему ночью туда, как и на кладбище, лучше одному не ходить, а то мало ли что… Живут там банник с банницей, маленькие да страшненькие, любят они, когда в бане люди парятся, моются или еще каким необходимым делом занимаются. Да и не только баня была обитаемой, подобные банным истоты

(существа) жили всюду: и в поле, и в хлеву, и на сеновале, и в лесу, и в озерах, реках, криницах — да повсюду, с чем человек соприкасался. Наяды и нимфы, они не только в древних Грециях и Римах обитали, они вон у нас под окнами доныне бродят в лунные да туманные ночи, надо только захотеть их увидеть. Смешно признаться, но я до сих пор верю, что банник, если ему не потрафить, может запросто пар испортить, пересушить его, баню враз выстудить, дурных запахов нагнать, а то и более серьезную какую напасть наслать. А потому при всей своей крещености и воцерквленности я с мелкими домашними духами, пенатами по-античному, стараюсь жить в мире и добрососедстве. Оттого и баня у меня — залюбуешься: и парок отменный, а уж какой чай из старинного самовара! Нет, не подумайте, я нисколечки не хвастаюсь. Мне не верите, у внука спросите, когда пишу эти строки, ему почти четыре года стукнуло, а в баню со мной он первый раз пошел в неполных два и уже тогда «деду банному» из ковшика водицы с пивком мимо каменки плеснуть учился. Так-то. И чай Миколка любит, а как не любить, когда чаек на алтайском разнотравье да на таежном бадане настоян, а на столе горный мед, а в самоваре на дне пять «николаевских» серебряных целковых лежат, водицу томят. Вот она какая банька-то!

Отец говорил, что когда-то, еще до меня, у них была старая баня, но как-то сама собой развалилась, и дед на ее месте решил образовать новую. Мне кажется, что я и сам принимал участие в ее возведении или очередном обновлении. Баня наша начиналась с узких сеней, носивших гордое название «примыльник», к одной стене была прилажена доска, служившая лавкой, над кото-

рой были прибиты какие-то самодельные крючки для верхней одежды, у другой — рядом со входом в саму баню — стояла большая бочка с холодной водой. Прямо за дверью слева располагалась сложенная из кирпича топка с каменкой и вмурованным котлом. Котел был необычным, а каким-то немецким со стальной нержавеющей внутренней поверхностью, внизу в него был врезан большой латунный кран. За котлом следовал широкий полок, чуть ниже одна широкая ступенька, служившая одновременно и лавкой. Правая сторона помещения была пустой, на ней стояла пара-тройка небольших переносных скамеек, тазы да, пожалуй, и все. Свет божий в эту избушку проникал сквозь одно маленькое окошечко, тем и довольствовались. Осенью и зимой, когда быстро темнеет, на специальной полочке коптил керосиновый фонарь. Помню, что старшие все время боялись, чтобы мы, моясь и обдаваясь, не брызнули на него, стекло к этому свету найти в те времена было весьма сложно. Позже, где-то в году шестьдесят пятом, в баньку провели электричество.

Банное священнодейство начиналось почти с самого утра. Необходимо было попервости принести дровишек, да не лишь бы каких, а специальных, сухих и нехвойных пород. Потом наносить воды и в бак, и в бочки, а воду носить приходилось издалека, это уже позже дед перед домом колодец выкопал. Где-то вскорости после обеда начинали баньку топить, топить по-настоящему, обстоятельно и долго, чтобы под каменкой и котлом образовался толстый пласт пышущих огненным жаром углей. Как только над углями переставали плясать злые маленькие голубенькие язычки огня, надо было закрыть вьюшку, а на каменку положить специальную

металлическую заслонку с приклепанной посередине ручкой. Главное было не пропустить этого момента, поэтому топящуюся баню без присмотра старались не оставлять. Когда внуки подросли, дедушка Никодим посылал нас «пильновать агонь». Вот и все. Двери плотно затворялись, и баня начинала томиться, вбирая в себя энергию и тепло сожженных деревьев. Наконец наступал самый ответственный момент, после недолгих препирательств, кому идти первым — мужикам или бабам, — мужики побеждали, и мы шли в «нее».

Баня стонала от жара. Раскалено было все: и печь, и стены, и лавки, и потолок, казалось, плесни на стенку воды — и она зашипит. Мы, мелкота, прижав уши, рассаживались по услоникам и с ужасом ожидали неизбежности. Нас парили первыми, начиная с младшего. Младшим был Толик, один из моих двоюродных братьев, или я. Конечно же, я верещал, жарко было и где-то даже страшно, ты как бы куда-то улетал, что-то с тобой происходило, и юный мой разум еще не мог всего этого объяснить, потом незаметно и осторожно, словно глубокий сон, приходило тихое блаженство. Дед холодной воды на лицо да на голову малость плеснет — и ничего, терпимо. Зато как неповторимо благоухает распаренный свежий березовый веник. У нас почему-то дубовыми не принято было париться. Может, оттого, что дуб — дерево Перуна, и оно священно, а может, и по каким другим причинам. Только притерпишься к размазывающим тебя по вселенной горячим волнам, которые бегут перед веником, как снизу слышишь елейный голосок Игорька или Сереги, старшеньких, двоюродных:

— Деда, а там на каменке уголечек какой-то тлеет, видишь?

— И деж гэта?

— Да вот же, дед, вот!

— А матри яго!

И на раскаленные камни летит ковш воды, настоянной на мяте, чабреце или душице. И новые, новые волны накрывают тебя с головой. И неведомо, где и когда ты из них вынырнешь, и плоть твоя отстает от костей, и душа твоя отделяется от тела, и становишься ты неотъемлемой частью великого и неистребимого мира, имя которому — Бог. Однако чтобы все это понять и вместить в себя, мне понадобились годы и годы, и слава тебе, Господи, что мне есть кого сегодня парить и кому, вспоминая своего деда, заливать водой горючь-камень.

Эрлик

Набухшие от дождя скалы плакали. Мы сидели на теплых овчинах в большом сухом гроте. Полупогасший костер не дымил, приятный жар с едва уловимым терпким запахом угара приятно обволакивал лицо и щекотал ноздри. Из грота открывался великолепный вид на горное озеро, которое в эти часы было подстать погоде — нервным и нелюдимым.

Наше естественное пристанище располагалось так, что ветер в него почти не задувал и только сильно свистел в голом кустарнике да надсадно подвывал в обтрепанных кронах прибрежных сосен. Серые с белесым налетом волны ритмично колотились об угловатые каменные глыбы. Все это создавало атмосферу некого протяжного покоя, которую приятно дополнял негромкий голос Хаюпа, такой же протяжный и слегка тоскливый, как озерная вода.

Хаюп рассказывал древнюю шорскую быль. В этих местах нет легенд и сказок, здесь только были, потому что шорские боги по-прежнему продолжают жить среди людей, помогать им или же вредить, последнее, впрочем, во многом зависит от самого человека. Сквозь

дремоту я запомнил, что разговор шел про каких-то эрликов — своего рода шорских чертей, населяющих нижний мир или, если следовать более понятной терминологии, — преисподнюю. Оказывается, эти самые эрлики были преинтереснейшими существами. Воспроизвести весь рассказ Хаюпа из-за одолевающей меня тогда дремоты я не могу, а приписывать чужим чертям какие-то, возможно, не свойственные им черты, считаю делом пустым да и небезопасным. Одно я точно помню: они могут притворяться людьми, как наши оборотни, но, в отличие от них, не вредя телу, искусно уводить человеческие души куда-то далеко под землю, в царство своего хозяина. Одним словом, живет среди нас человек, ничем не отличается от окружающих, может, даже в ученых или, скажем, в депутатах ходит, а на поверку это посланник эрлика, творящий свою вредную и пагубную работу.

До конца я эту басню не дослушал: усталость и тепло костра окончательно сморили, и я уснул. Снились какие-то странные сны, которые не запомнил, осталось только ощущение их странности и чувство полета. Кто-то невидимый и сильный пытался утащить меня в крохотную с небольшим бугорком дырку, оставленную дождевым червем. После второй попытки ему удалось протолкнуть меня в это смехотворное отверстие, которое на поверку оказалось довольно просторным извилистым тоннелем. Полет в этом компьютерно-сказочном лабиринте был стремительным и кратким, вдруг что-то затрещало, заухало, и мелькание подземных изгибов прекратилось. Проснулся я неотдохнувшим, с дурным настроением. Молча, обжигаясь, отхлебывал таежный чай из бадана. Очередной раз поднимая горячую эма-

лированную кружку, обратил внимание на странный, слегка белесый след на тыльной стороне правой ладони. Что за чертовщина! Вчера ничего подобного не было. Потрогал — никакой боли, просто как обожженная горячим утюгом аккуратная небольшая отметина в форме серпа с точкой внутри. Хаюп заметил мою встревоженность, взял руку и, поднеся ближе к свету, покачав головой и ничего не говоря, протянул мне свою. В том же месте, что и у меня, на его смуглой и обветренной коже красовался такой же значок.

— Хорошо это, ты только не пугайся, — зашептал мне на ухо шорец, — ночью надо было бояться, но, вишь, они тебя не смогли увести с собой.

— Кто?

— Эрлики. Тебе озеро помогло. Теперь всегда этих чертей будешь узнавать. Ох как они этого не любят, но ты, брат, крепись. Страху натерпишься.

На наше секретничанье стали обращать внимание.

— Ты только никому сейчас ничего не говори, потом все сам поймешь.

Я назвал все бредом. Допил бадан и вместе со всеми спустился к лодкам. Через полтора часа мы добрались до вертолета и вскорости вернулись в свой привычный всепоглощающий мир. Странная отметина недели через три исчезла, и я начал забывать эту, как мне казалось, наивную историю. Но вот однажды, придя в гости к одной очаровательной молодой женщине, обещавшей познакомить меня с очень интересным человеком феноменальных возможностей, я, как любит говорить нынешняя молодежь, «тормознул». Войдя в квартиру и протягивая дежурные розы знакомой, ощутил странное покалывание на тыльной

стороне правой ладони. Скосив глаза, я, к своему удивлению, заметил контуры тонкого серпообразного значка с точкой в середине. Наверное, мое лицо так изменилось, что обаятельная улыбка сползла с прекрасного женского личика. Бросив косой взгляд в висевшее на стене зеркало и не найдя ничего предосудительного в своей внешности и, наверное, приняв мое окаменевшее и исполненное решительности выражение лица на действие своего обаяния, женщина, сделав круглые глаза, умоляюще прижала палец к припухшим губам. Казалось, что все ее существо излучало мольбу: «Только не сейчас!»

Разгладив окаменелость скул, благо, сделать это на моем полнеющем лице не представляло большого труда, я, игнорируя нормы этикета, отодвинул в сторону хозяйку и вошел в гостиную. Полуразвалившись в кресле, сидел обладатель феноменальных возможностей и что-то негромко говорил двум излучавшим восхищение дамам.

— Эрлик, — прозвучал внутри меня голос Хаюпа.

Не дожидаясь представления нас друг другу, даже не взглянув в мою сторону, незнакомец изменился в лице, нервно поклонившись дамам и чуть не сбив с ног совсем сконфуженную хозяйку, зло прохрипел ей прямо в лицо «дура», с остервенением хлопнул дверью и растворился в сумеречном городе.

До глубокой ночи я как мог развлекал и смешил растерянных дам.

Эрлик у знакомой больше не появлялся. Но с той поры голос Хаюпа все чаще звучит во мне. Последний раз это было вчера, когда я в переполненном лифте поднимался к себе в кабинет.

Бабушки

Как и у всякого законнорожденного внука, у меня были две бабушки. Два абсолютно разных человека, оставивших в моей жизни два светлых и незабываемых следа. Во многом благодаря им я стал тем человеком, книжку которого вы сегодня читаете. Бабушки, бабушки мои любимые и милые, как вам там, в вашем таком далеком жилище? Вот сижу в своей тихой подмосковной баньке, пишу эти строки, а учащенно стучащее сердце уже далеко, далеко, в том сладком и недоступном для чужого взгляда мире, имя которому — память.

Так уж сложилось, что деревни мои, по-нашему вёски, распределились в моей жизни не совсем равномерно. Ресты с Горбовичами были и осталось больше, а Завожанья с 53-им разъездом меньше.

Реста, здесь прошло мое детство, несмотря на то что я родился в железнодорожной больнице Могилева, всегда пишу в анкетах, что родился именно здесь, нисколько не обижая соседнюю с нашим поселком деревню Горбовичи, которая считается официальным местом моего появления на свет.

Реста — это бабушка Ева, зычный голос, властный и упрямый подбородок, кулацкая хватка, чисто выме-

тенный двор, подпол с канистрами самогона, стол как полная чаша, ломящийся для любого, самого захудалого гостя, хотя захудалых гостей для бабушки не было. На кухне и в комнатах перед войной построенного дома — простенькие бумажные иконки. Про Бога бабушка вспоминала перед праздниками или когда что-то не ладилось в делах, приснился дурной сон, скотина прихворнула, от тетки долго писем не было, мало ли еще чего могло приключиться в большом деревенском хозяйстве. Обращения эти были ненавязчивые, вроде между прочим и следовали уже после того, как бабушка сгоняла на попутной подводе в соседнюю деревню погадать к Аксинье, проконсультировалась с паройтройкой авторитетов в знахарстве, все подробнейшим образом обсудила с закадычной подругой-соседкой бабой Аделей Бардиловской, сама чего-то пошептала, поплевала, поскребла гусиным крылом. Зато уж в церкви Ева Ивановна молилась от всей души, с поклонами и слезой, правда, по малолетству я так и не запомнил, исповедовалась ли она когда-нибудь, была ли у причастия. Мне кажется, с причастием и покаянием у белорусов дела обстоят весьма проблематично, большинство из нас считают, что само посещение церкви, зажжение свечей перед образами, покаянная молитва и откровенный разговор со Спасителем или Богородицей достаточны для надежды на их милость и прощение, а все остальное придумали власти и попы, чтобы выкачивать из людей деньги. Бабушка, мне кажется, придерживалась этого принципа.

Особой статьей незлобного бабушкиного гнева были наши внучьи развлечения, прежде всего рыбалка и купание до дрыжиков на Амхинецком или на Лявоно-

во, когда-то так назывались самые купальные места на неширокой и мирной Рудеи. Мне кажется, что и сейчас в ушах звучит бабушкин голос: «Валерька, лиха матри твою, утопишься, домой не приходи!» Надо сказать, что жизнь внуков и внучек — а свозили к бабке всех шестерых — была строго регламентирована и наделена персональными обязанностями: прополка, поливка, догляд многочисленных цыплят, утят, гусят, сбор тли и колорадских жуков, уборка двора, участие в заготовке сена, пилка дров и прочее, прочее, прочее, не говоря об обязательных походах по грибы и ягоды. Гляжу на своих детей и внуков и диву даюсь: в отличие от них, у нас никогда не было проблем с аппетитом и сном, и никто из нас понятия не имел, что такое аллергия или насморк в разгаре лета. Самой большой проблемой было перед школой отдраить ноги — черные от загара и въевшейся в них грязи. Сегодня трудно и представить, как это можно было бегать по ржищу босиком! Недавно попробовал, скинул свои модельные туфли и резво так зашагал вслед за комбайном, однако резвость исчезла, когда прошел шагов пять. Искололся и, косолапя, вернулся на межу. А ведь тогда мы в полном смысле этого слова носились по полям и весям, и все нам было нипочем! Три месяца про сандалии и иную обувь мы вспоминали крайне редко.

Мы были дети, игравшие в свои игры в еще не заросших траншеях недавно отгремевшей войны. Нас окружали ее атрибуты: трофейные патефоны и велосипеды, ржавое и поломанное оружие, все исправное взрослые повыбрасывали или припрятали в укромных местах на всякий случай. Артиллерийский порох, из этих серых тонких макаронин запускали ра-

кеты, жгли, как бенгальские огни. Патроны, гильзы, какая-то немецкая амуниция, коробки, мешки с большими фашистскими орлами — все это жило рядом с нами. Помню, мой матрас, который периодически набивали свежим сеном, был сшит из мешков, украшенных свастикой, и спал я на нем лет до шестнадцати. Были еще штык-ножи и много разной военной мелочи. Да, чуть не забыл, как обязательный атрибут у нас во дворе была большая стальная «фрицовская» каска, прилаженная к длинной березовой палке, ею чистили выгребные туалеты и вычерпывали жижу из хлевов. Надо отдать должное некой толерантности моих земляков, многие тоже черпали и красноармейскими шоломами. Немецких касок было больше, скорее всего, из-за того, что они своих погибших хоронили, на могилах ставили кресты и вешали на них таблички с именами и почти всегда стальные шлемы. Наши, если отступали, совсем не хоронили своих убитых, присыпали прямо в окопах, а чаще всего оставляли на попечение местных жителей или неприятеля. Безусловно, похоронные команды все же иногда работали, но несчастных хоронили в общей ямке, как правило, без гробов, под одной палкой с пятиконечной звездой. Каски, оружие, а иногда и обмундирование собирали и после определенной чистки и подладки вновь пускали в жутковатый оборот.

Жизнь в бабушкином доме была тесно связана с железной дорогой. Дед Никодим до глубокой старости проработал стрелочником. Наверное, поэтому железнодорожная станция была для нас отдельным и доступным миром, со своими запахами, звуками, гордостью за городской хлеб в тяжелых деревянных, а потом и алю-

миниевых ящиках, которые привозили раза три в неделю на пригородном поезде из Могилева и продавали только поселковским.

Новогодние елки в красном уголке станции, Дед Мороз с мешком под портретами Ленина и Сталина и, конечно же, подарки, пахнущие мандаринами! Бьюсь об заклад, сегодня мандарины так не пахнут! Кто постарше, помнит этот запах, в бумажном пакетике были дешевые конфеты, печенье и два, только два, мандарина или один небольшой апельсин. Помню, как душила жаба, но этими вкусными нездешними яблоками приходилось делиться и с родственниками, и с друзьями по деревенской улице, в колхозах новогодних подарков в то время не было. Руки мерзнут, отламываешь излучающую свет и летний запах дольку и даешь по очереди откусить друзьям, и каждый кусает немножко, чтобы не подумали, что жадный, самая большая кроха доставалась последнему. Даже странно, что такое когда-то могло быть. Цитрусовые корки никогда не выбрасывали, а в обязательном порядке сдавали бабушке, которая их сушила, а потом заваривала вместе с чаем или настаивала на них самогон — для пущей изысканности, что ли.

Здесь, в этой бесхитростной жизни, входили в меня древние токи загадочных радимичей, от которых, петляя, в веках тянется незримая нить отцовского рода.

Нет уже 53-его разъезда с трехминутной остановкой пригородного поезда. Нету, стерт прогрессом, словно мел со школьной доски. А ведь разъезд этот периодически всплывал в моей жизни на протяжении целых восемнадцати лет. Два или три маленьких строения в глухом лесу, казарма станционного начальника, крохотный огородик и воняющая разогретыми на солнце

шпалами железная дорога. С поезда прямо на насыпь спрыгивали редкие гости, а кто-то, толкая впереди себя мешки и кошелки, ухватившись за поручни, с сопением и матюками поднимался в вагон. Звонил станционный колокол, трубил рожок, гудел паровоз и, зашипев паром, звякнув сцепками, поезд торопливо уползал в сторону несбыточно далекого Богушевска.

На разъезде нас, как правило, встречал дедушка Константин, или кто-то из заважанских, подъезжавших за своими, или никто не встречал. Заранее мама про встречающих не знала, но всегда надеялась на это. А потом была лесная дорога длиною в девять с гаком километров. До сих пор никто точно не определил длину белорусского гака. Если летом да на подводе, то это незаметно и даже где-то весело, кругом ягоды, грибы, а если зимой, пешком да фактически ночью... О, я знаю, как замерзают слезы обиды и страха на щеках! И какие страшные и живые тени в лунном морозном лесу. Наверное, после тех страхов я перестал бояться ночного леса и даже где-то полюбил его за надежность и безопасность.

Чем для меня была эта дорога? Я долго не мог ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Ответ пришел сам собой. Лесной путь был естественной машиной времени: преодолев положенные километры, я попадал из относительной цивилизации в мир древней Беларуси, из середины века двадцатого в середину девятнадцатого, из языкового суррогата «трасянки» в заповедную сказку роднай мовы.

«Бабушка Феня, бабушка Феня, платочек кофейный...» — старые мои стихи, а имя у бабушки было

Федора, но деревенские звали ее на кривицкий манер Хадося, Тадора, а иногда Тэкля, хотя это уже русская Фекла. Худенькая, небольшого росточка, живая, все время согнутая работай, улыбчивая и очень набожная. С бабушки можно было в равной степени писать и икону, и портрет кривичанки. Безбрежное добро и смирение поразительным образом сочетались в ней с несгибаемой волей и настойчивостью.

Электричества в Завожанье не было года до шестьдесят пятого, были керосиновые лампы для зимних Калядных застолий, а так по хозяйству управлялись при лучине, летом же и вовсе старались обходиться без света. Исключение делалось только для гостей, которые по городской привычке любили почитать перед сном. Здесь, в забытом всеми уголке, жил дух чего-то таинственного и уходящего. Здесь я узнавал, для чего служат различные деревянные приспособления, некоторые из которых встречались мне и в Ресте. Оказывается, вот это странное громоздкое сооружение ни много ни мало, а целый ткацкий станок, да к тому же работающий! И бабушка зимними вечерами ткала кросны, а до этого почти все лето совершались длительные приготовления: пахалась земля, высаживался лен, потом он необычно цвел, набирал силу, потом его надо было «брать» — вытаскивать из земли по стебельку, вязать в снопы и ставить в «бабки», потом мочить, мять, трепать, чесать, сучить нитку и уже только после всего этого ткать узкое полотно. В мое время из самотканой холстины уже не шили одежду, а использовали ее для домашних рушников, занавесок, подзоров и каких-то

сакральных действий. Дежу с тестом для хлеба покрывали только самотканым, испеченный хлеб тоже выкладывался остывать на палицу, засланную чистым домашним холстом. Исключительно в домотканое заворачивались различные примочки, компрессы, им покрывались наговоренные вода, соль, масло. Все что касалось давнины, не терпело металла и должно было быть изготовлено только руками человека при соответствующих молитвах и заговорах.

Бабушка и дед молились всегда. Дед, конечно, с меньшим усердием и менее многословно. Он вообще был молчуном, за свою долгую жизнь — а прожил он до ста двух лет — дед Костусь убедился, что молчание почти всегда дороже пустого и долгого разговора, может, поэтому он сторонился людей и предпочитал больше бывать в лесах и на работе.

Бабушка знала уйму сказок, старых, не вычитанных в книжках. Да и читать-то она толком не умела, а рассказывала нам те сказки, что передавались из поколения в поколение. «А вось гэтую казку мне казала ажно мая прабаба…» — так часто начиналось бабушкино повествование. Долгое время безуспешно силился я вспомнить эти сказки, чтобы записать, но, увы, ничего не выходило, не вспоминалось. Расстраивался, злился. Тот сказочный мир живет где-то глубоко во мне, его волшебные образы рядом, кажется, вот — протяни руку, а нет — не получается. Время летит поразительно быстро, уже и сам дед, уже внуки просят рассказать сказку. И все стало на свои места, просто, наверное, пришло время, и старинные небылицы как-то сами собой начали сказываться. И что удивительно, часто начинались они со слов: «А эту сказку мне рассказывала еще твоя прабабуш-

ка...» Дальше по-русски говорить не получалось, волшебство из сказки уходило, она становилась пресной и похожей на плоский американский мультик. Я понял, что народные сказки, как и народные песни, на другой язык перевести нельзя, их можно пересказать чужим языком.

Странно, внукам эти старинные истории на мало понятном для них языке нравятся, и слушают они их с затаенным дыханием и открытыми ртами. А еще дважды повторить одну и ту же сказку одинаково у меня не получается. Но сам я этого не замечаю, благодарные слушатели поправляют, списывая изменения не забывчивость деда.

Вот такие сказки были у бабушки Фени. Может, действительно, живое слово, записанное на бумаге, теряет свое волшебство и таинственность и живет только в благодатном поле живого родного языка.

Бабушка не умела читать и писать, и от этого мучилась, ей хотелось самой прочесть Святое Писание. Библию в те годы купить было невозможно да и хранить подобную литературу в доме было делом рискованным. Однако у бабушки это сокровище было, хранилось оно в только ей ведомом месте. Извлекалось по праздничным дням и, если я оказывался под рукой, меня заставляли читать непонятные мне тексты. Писание было на церковнославянском языке, хорошо хоть — в новой орфографии. Вот так, спотыкаясь на незнакомых словах, поправляемый бабушкой, я делал свои первые шаги к Богу.

И последняя картинка из Заважанья, которую бережно хранит моя память. Я приехал попрощаться с бабушкой и дедушкой: через неделю уходил в армию. Помню, что, как и в детстве, долго читал старикам Еван-

гелие. А потом было хмурое утро, и я уходил в первую свою неизвестность вдоль покосевшей изгороди, и надо было спешить на поезд, но что-то екнуло внутри, оглянулся: бабушка молча плакала и крестила меня в спину. Больше я ее живой не видел, но ее крестное знамение хранит меня и поныне.

Пишу эти слова, а в голову приходит название книги известного сербского поэта Благое Баковича «Повраток на Итаку» и думаю: как это важно не прозевать, не забыть поворот на свою Итаку, поворот к своему Дому, своим Истокам.

Стефан

Если что и есть на этом свете неудобное, так это королевская кровать в Городенском замке. Еще задолго до своей хвори он не раз сам лично осматривал ложище, сгружая на пол традиционные перины, одеяла из лебяжьего пуха, какие-то льняные разукрашенные местными вышивками-оберегами постилки, узелки с сушеными ароматическими травами и кореньями, докапывался до потемневших от времени досок, ощупывал их, поражался прохладной ровности и отсутствию трещин. Даже при самом придирчивым осмотре широких дубовых плах никаких неровностей найти он так и не смог, но, черт тебя забери, что-то же не дает толком расправить усталое и ноющее от старых ран тело... Почему? Вроде удобно уляжешься, а минут через двадцать начинаешь ворочаться — и так почти всю ночь. Под утро чуть забудешься зыбким сном — и уже пора, уже гремят тазами и кувшинами, уже брадобреи раскладывают свои прилады. Не любил он этот утренний народ, но что делать, и без него тоже не обойдешься. У каждого на этой земле свое предназначение: кому бороды брить, кому государством управлять, правда, неведомо, какое из этих занятий важнее.

Королю и Великому князю с каждым днем становилось все хуже и хуже. Пустяшная, казалось бы, царапина на ноге никак не желала гаиться. За последнюю неделю небольшая дырочка, из которой он без особого труда вытащил тот злополучный сучек, превратилась в гниющее и смердящее месиво.

— Нога, нога, будь она не ладна, эта нога! — Баторий попытался опереться на край кровати и повернуться на бок. С третьей попытки ему это удалось и, пропуская сквозь сжатые зубы стон облегчения, он вытянул изувеченную ногу. — Ой и дрянь дело. Что же это ты ко мне привязалась, как валашская попрошайка? И так я тебя на себе таскаю уже лет тридцать, а ты все не отстаешь, то затянешься тоненько синюшной пленкой и притихнешь, словно дожидаясь чего-то, то вот пробудишься, истекая гноем, сзывая на себя мух со всей округи. Как же это я тот сук не увидел! — покосившись на набрякшие лоскуты тонкой материи, он тихонько застонал и испугался этого стона, таким он ему показался беспомощным, бесцветным, почти лишенным жизни. К нему большой темной птицей метнулась дремавшая чуть поодаль в деревянном кресле женщина.

— Что, что мой король? — склонившись над больным, вымолвила она по-польски и вдруг, как бы встрепенувшись, быстро повторила свой вопрос на латыни. Баторий при всех его стараниях так и не выучил, как он говорил, «змеиного языка» аборигенов, отсюда весь двор его прилежно зубрил латынь.

Стефан с трудом поднял как будто налитую свинцом руку, долго ее удерживать было трудно, и женщина подхватила, прижалась губами к запястью. «Какие у нее холодные губы, как у покойницы, — проплыла

медленно мысль. — Она хорошая, и лучше, чем с ней, мне никогда не было, да, наверное, уже и не будет. Надо звать лекарей. Странно, но эти чертовы грамотеи приходят поодиночке и каждый советует свое снадобье, сдается мне, что один лечит меня от лечения другого. Встану — выгоню обоих.

— Каханый, не верь этим разбойникам, — будто угадывая его мысли, произнесла женщина, — они тебя травят. Я вот принесла отвар наших трав, он поможет: и жар снимет, и боль уймет. Эти зелки я сама собирала и сушила, только старая Рухля варить помогала. Выпей, каханенький, а потом я сама тебе рану промою и перевяжу.

Стефан приподнялся и послушно выпил зелье, оно было горьким и пряным.

— Фу, мерзость, но из твоих рук я и отраву выпью. Так ты думаешь, я еще встану? — сиплым голосом спросил господар и попытался улыбнуться.

— Встанешь, мой король, на радость люду поспалитому и на зло ворогам. Как тебе не встать, Господь милостив и не даст нам осиротеть. Я когда сюда шла, забежала на конюшню, с коньками твоими поговорила, сказала, что поправишься ты скоро. Мне кажется, они обрадовались.

— Ох, смотри, дознается инквизиция, что ты не только мне зелье носишь, но еще и с конями разговариваешь — беды не оберешься. Знаешь, а мне и в самом деле легче стало, в сон потянуло. Засну я, ты только не уходи… — рука князя отяжелела, и он мирно засопел.

Аделя с опаской оглянулась. Кроме них в опочивальне никого не было. Ловко спрятала пустую склянку в потаенном кармане, достала другую, вытащила зу-

бами пробку и осторожно сдвинула одеяло с больной ноги. Полоски перевязки пропитались гноем и бурой сукровицей, закорели и уже издавали дурной запах. Тонким острым кортом, висевшим у нее на поясе, женщина разрезала повязку в двух местах, оставив только припекшуюся к ране ткань, которую после недолгих колебаний принялась осторожно смачивать жидкостью из бутылки. В комнате резко запахло настоянной на травах самогонкой. Больной негромко застонал. Аделя замерла, глядя на любимое изможденное болезнью и бессонницей лицо.

Впервые она увидела его два года назад, он приехал к отцу в Сакулки охотиться. Еще за три дня в доме начался переполох, еще бы, к малозаможному лесничему едет сам король Польский и Великий князь Литовский. Ее и трех кузин, постоянно живущих в их доме, отправили от греха подальше на хутор. Было ей в ту пору почти шестнадцать лет, она наравне с братьями лихо скакала на лошади, умела читать лесные следы, неплохо палила из ручницы и пистолей, да и зверя могла затравить. К ее просьбам «хоть глазочком глянуть на короля» отец остался глух, дескать, нечего здесь под ногами путаться, да и не пристало молодой девице среди разогретых охотой вельмож разгуливать. Так в глушь и отправил.

И надо же было приключиться, что именно в эту глушь и вывел олень короля. Зверь, отбиваясь от дворовых собак, ускакал дальше, а всадник спешился и попросил воды. Аделя и подала ему ковш. Глаза их встретились, и что-то светлое произошло в их сердцах, они, правда, про это никогда и не говорили. Потом он стал наезжать в их дом почти каждую неделю, один, без сви-

ты с четверкой своих венгров. Где-то месяца через два, ближе к снегу, все у них и произошло, красиво и просто. Сначала отец узнал, а потом уже и все. Начались досужие разговоры, сплетни, отец и братья даже о замужестве поговаривать между собой стали. Она никогда не хотела стать королевой, она просто любила этого человека. Иногда, когда он засыпал, гладила его шрамы и тихонько пела старые местные песни. Она знала и любила язык местных людей, может, оттого, что ее мать была наполовину белоруской, ей даже казалось, что и Степану, так его звали местные, ее песни нравятся больше, чем латинские псалмы. Он часто уезжал воевать, а она не находила себе места, вскакивала по ночам и до боли в глазах вглядывалась в оконную темень. Потом были сладкие и радостные минуты встречи. Он навозил ей целую подклеть подарков, но она к ним была безразличной, почему-то ей нужен был только этот израненный и уже стареющий мужчина. «Гэта твой крыж», — постоянно повторяла ей Рухля, гадая или помогая варить отвары.

Стефан громко вздохнул и широко улыбнулся во сне. Аделе показалось, что над Городней взошло яркое солнце. Размоченные тряпицы отстали от глубокой раны с неровными краями, из которой вытекла целая лужица липкого гноя. Промыв дыру из очередной бутылицы, девушка заложила внутрь черную мазь с неприятным запахом и аккуратно забинтовала ногу.

Король проспал до самого утра, рядом перед рассветом прикорнула и каханка.

Умер король только через полтора месяца в том же Городенском замке и в той же неудобной кровати, вокруг которой стояли придворные, негромко молились монахи.

— Позовите ко мне Аделю, — еле слышно прошептали уже синеющие губы.

— Мы уже послали за ней, — ответил командир венгров, — скоро будет.

— Запомни и передай всем мою волю, ты меня слышишь?

— Слышу, мой король!

— Похороните меня здесь, в Городне, я давал приказ иезуитам подготовить мне склеп. Слышишь, меня слышишь? Где Аделя?

— Скоро будет, госпадар.

— Не дождусь я ее, видно, уже не дождусь. Иди ко мне ближе, — он, не поднимая руки, позвал пальцами человека, с которым столько проскакал и провоевал, что и припомнить трудно. — У Адели будет ребенок, — еле шептали потрескавшиеся губы, — мой ребенок. Присмотри за ним и помоги ей. Слышишь, слышишь меня?

— Я все исполню, только и ты сам все это сможешь сделать, рано тебе, король, помирать. — Не успел верный Ишванд подняться с колен, как его господар отдал богу душу.

Первым это заметил стоявший рядом лекарь Симониус, он дотронулся до того места на шее, где всегда бьется жилка жизни.

— Король умер! — необычно громко произнес он, поспешно отдергивая руку.

Страшная весть остановила Аделю недалеко от городских стен. Она ехала в коляске, верхом скакать было уже опасно для ребеночка. Сопровождавшие ее венгры пришпорили коней и полетели в город. Она не плакала, стояла и тоскливо глядела на высокие башни замка, в котором ей больше нечего было делать. Она знала, на-

перекор своей молодости, книжной грамоте, лжи летописцев и придворных историков, что все: и этот замок, и королевство, и эти по-муравьиному снующие люди — все исчезнет, растворится, разрушится. Останется только ее сын, вернее, их сын, похожий на отца и обликом, и своими делами. Неспешно развернулась коляска и вскорости растаяла в вечерних сумерках спешащего на запад дня.

— Это ты короля уморил в смерть, — надрывно, чуть ли не воя, кричал долговязый мужик с козлиной бородкой. — Ты, ты. Тебе отвечать, тебе! Это он, господин Ишвант, давал ему беладонну…

— Беладонну! Ха-ха, корешки! А ртуть, ртуть кто королю втирал? А кровь непомерно кто пускал? Ты, Бучелло, душегуб ты! — старался перекричать собеседника лекарь Симониус, крепко сбитый монах средних лет, первым возвестивший о кончине великого полководца.

— Мне это надоело! — громко хлопнул о стол плеткой королевский стражник. — За ночь не разберетесь, повешу утром обоих. Вон покойник, — венгр указал на каменный стол в углу каземата, — глядите на него и решайте, чья вина в его смерти.

За широкой спиной вскорости глухо лязгнула засовом сводчатая дверь. Верный Ишвант и в страшном сне не мог себе представить, что с его господарем за ночь сотворят эти два лекаришки, обуреваемые профессиональным гонором и подгоняемые страхом пеньковой петли. В глубоком подвале замковой часовни, при мигающем свете смоляных факелов, впервые в цивилизованном мире было произведено вскрытие трупа, так сказать, в научных целях, для уточнения диагноза, подтверждения правильности лечения и снятия с меди-

цины обвинений. Причину смерти сюзерена горепатологоанатомы определить не смогли, но и вины своих лечений в этом не отыскали. Ишвант не сдержал своего слова, он их не повесил, он зарубил обоих прямо здесь, в подвале.

Короля похоронили в Городне. Но столичный Краков не унимался и требовал сановные останки в неприступный Вавель, где покоились с миром хорошие и не очень хорошие владельцы короны Речи Посполитой. С небывалыми почестями, флагами и трубами перевозили гроб к новому месту упокоения, позади оставалась освобожденная им от неприятеля земля, города с жалованными им гербами и магдебургским правом. Проползла пестрой змеей траурная процессия, и никто не обратил внимания на одинокую фигуру хрупкой, одетой в черное женщины, крепко прижимающей к груди младенца.

Батура

Идея этой книги родилась совершенно спонтанно. Где-то лет двенадцать назад я приехал в свой родной Могилев и удивился творящимся здесь переменам. Последний раз, насколько я помню, железнодорожный вокзал капитально ремонтировали и драили еще пленные немцы. Первомайскую, самую главную и длинную улицу города, принялись латать асфальтом, лишая привычных выбоин. Фасады старинных домов не только ободрали от дрянной штукатурки и привели в первозданный вид, их выкрасили хорошими фасадными красками, при этом колонны, декоративные оформления окон, восстановленная лепнина были, как и подобает, оттенены светлым колером. Люди на автобусных остановках повеселели что ли. Мужики стали вроде добрее, женщины и девушки красивее. Над всей областью, а не только над ее центром, завращались башенные краны, даже извечно непрезентабельный внешний вид здешних сельских угодий и тот стал радовать глаз. Одним словом, что-то кардинально изменилось на моей малой родине.

Жизнь — она великая штука и телевизор не смотрит. Сколько он ни надрывайся, призывая к улучшению демографической ситуации, жизнь глуха к подобным стенаниям. Но стоит достатку появиться в домах, а не в статистических отчетах, как уже окрестные скверы и парки полны детских колясок, и вам навстречу все чаще попадаются самые прекрасные в мире женщины, несущие в себе свет будущей жизни, нашего с вами будущего.

Видя всю эту необычайность, я пристал с расспросами к сестре, в отличие от меня, почти безвыездно живущей в родном городе.

— Так у нас же теперь губернатором Батура, — с какой-то неожиданной гордостью сказала она и принялась рассказывать и вовсе необычные для здешних мест вещи. — Губернатор заставил привести в порядок городские кладбища, огородил, отремонтировал подъезды к ним, за три месяца открыл памятник воинам-афганцам, учредил пешеходную улицу, с площадью звезд, принял решение и получил разрешение Минска на восстановление городской ратуши. Сам мотается по области туда-сюда, совещания проводит не только в своем кабинете, но и в поле, на стадионе, в театре, в школе или больнице. Одним словом, чудеса да и только!

К тому времени я уже не жил в родных местах ровно тридцать лет, хоть и приезжал часто, но города как-то не замечал, гостил пару дней и спешил побыстрей уехать. Серым он был, как мышиного цвета памятник Ленину, на площади Ленина, в городе, где Ленина никогда не было. За спиной высокой статуи низкорослого человека серым полукругом вздымалось грандиозное здание областной власти — Дом советов, точная копия Минского оригинала, немое свидетельство патологичес-

кого страха большевиков перед своими коричневыми побратимами. Подкармливая на нашу голову немецкий фашизм, мудрая сталинская власть не только строила индустрию на Востоке, в том числе и бесплатными руками белорусских рабов ГУЛАГа, но и, заботясь о своем комфорте, возводила за Уралом красивые города, перепадало что-то и нацкомам. В какое-то время по рекомендации Дракулы белорусского народа Лаврентия Цанавы, опасавшегося близости западной границы, проходящей всего в нескольких десятках километров от Минска, было принято решение о переносе столицы Беларуси в Могилев. И вот с берегов Свислочи на берега Днепра стали перекочевывать двойники столичной помпезности. Так, расчистив для себя пространство от старинных построек, в центре нашего города и появился памятник сталинской градостроительной безликости. Мрачный, исполинский и суровый, как шинель чекиста, дом возвышался нелюдимо и пугающе. Машины по площади не ездили, люди без особой нужды не ходили. Старался не ходить там и я.

Где бы я ни служил в России, какие бы должности ни занимал, желания встречаться с местной властью и знакомиться с ней у меня ни разу не возникало. Я был убежден, что на серой площади, в сером доме обитают серые люди, превратившие город моего детства в безликое пыльное поселение с кислым пивом, плохим футболом, всегда переполненными автобусами, плюющейся подсолнечной шелухой молодежью, населенное людьми с навсегда испуганными глазами. Однако тогда, после разговора с сестрой, я решительно побрился, что в отпуске со мной случается крайне редко, съездил в городской, пугающий своей унылой совковостью

универмаг, выбрал не менее советского покроя костюм, местного пошива рубашку, которая, сколько ее ни гладь, все равно остается мятой, уже не помню, какой галстук, и отправился знакомиться с этим самым таинственным Батурой.

Описывать свои добрые отношения с этим замечательным человеком спешить не буду, всему свое время, но именно в тот день я решил, что когда-нибудь напишу о нем книгу. Позже, лучше узнав могилевского губернатора, убедился, что книгу о себе Борис Васильевич не воспримет, виду не подаст, кисло улыбнется, скромно поблагодарит и засунет ее куда-нибудь подальше с глаз долой. Писать надо не о нем, а о его величестве Могилеве, воскресшем из серого небытия во многом благодаря энергии и воле этого человека. Так появилась первая точка опоры моей книги — современный Батура.

Вторая уже имелась и понемногу писалась — легкие, почти воздушные словесные акварельки — зарисовки из моей собственной жизни, призванные связать мой спрессованный обложками труд в единый монолит.

Прозаик я относительно недавний, моя первая книга прозы вышла всего лишь семь лет назад. По мере того как я расписывался, меня все сильнее и сильнее тянуло к первоистокам: к истории древней славяно-балтии, к легендам и былям летописных кривичей-радимичей, к великой средневековой Литве, которой и была тогда сегодняшняя Беларусь. Я запоем читал Владимира Короткевича, Всеволода Ивановского, Яна Борщевского, Владимира Орлова, Анатолия Тараса, Олега Трусова, часами говорил, вернее, слушал могилевского историка и краеведа Игоря Пушкина, бросив все, мчался на раскопки к гениальному археологу Игорю Марзалюку,

лазил по белорусским замкам, городищам, церквям, костелам и музеям. Я наверстывал упущенные знания. Меня все дальше затягивало вглубь сгущенного веками времени, где-то там жило нечто, должное стать еще одной, главной составляющей будущей книги. Нужна была третья точка опоры. Нашел я ее совершенно неожиданно одной осенью у разбитых стен старинного замка в Гродно благодаря талантливому поющему поэту Виктору Шалкевичу.

— Векапомные у нас мястины, Валерик! — говорил Виктор, разливая по стаканам горелку, — векапомные.. Когда-то тут помирал великий Баторий…

Баторий! Вот оно! Стефан Баторий, король Польский и Великий князь Литовский, человек, давший моему родному Могилеву большое Магдебургское право и новый герб. Его тогда на Литве-Беларуси звали по-тутейшему, здешнему, — Степан Батура.

Так и родилось внутреннее название, которое как нельзя более емко отражало и смысл книги, и ее содержание.

Книги, особенно такие, пишутся долго, неспешно, многие места переписываются, многие забываются или уступают место новым только что раскопанным фактам и событиям.

Ну, вот и книга еще толком не написалась, а ее составная часть — главный герой, волей государственной необходимости, переведен в столицу на высокую должность. Должность сия во все времена и у всех народов звучала громко, даже очень, но проку в ней, на мой взгляд, надо признаться, большого не было, да и нет. Так — дань моде. Когда-то давно в недрах играющих в тайны масонов родилась идея разделения власти,

не любили они эти смутьяны и конспираторы единоначалия, данного Богом и одобренного народом. Вот и появилась на свет идея о якобы независимых и разделенных друг от друга исполнительной, представительной и судебной власти. На месте мощного и всем видимого векового древа зазеленел разлапистый куст с перепутанными ветками и корнями, а главное — ничего не видно, что там, в этом кусте, творится, шелестит он себе и горя не знает.

Назначили Бориса Васильевича руководить парламентом страны. Охрану приставили, чтобы народ близко не подходил и все прочее. Хотя здесь, в Беларуси, какая-то странная демократия: ни народные избранцы, ни начальники исполнительные не имеют даже первичных признаков торжества свобод: машины персональные так себе, в России на таких порядочный полицейский постеснялся бы ездить. Да и странная какая-то атрибутика у белорусской власти. Мигалок нет, спецномеров нет, машин сопровождения по городу я ни у кого, кроме президента и автобусов с детишками, не видел. Охрана только у тех, кому положена по закону, да и то один-два человека, движение транспорта для проезда премьер-министру, его замам и губернаторам не перекрывается. В магазине, в очереди в театр, на рынке можно встретить представителей всех уровней власти. Я не выдумываю. Сам нос к носу как-то столкнулся в супермаркете с тогдашним главой администрации президента Владимиром Владимировичем Макеем. В другом магазине за мной в кассу стояли с тележками Борис Васильевичем Батура со своей женой Томарой Ивановной, а Батура, как я уже говорил, был тогда главой парламента республики. На одном из рынков встретил-

ся с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мясниковичем, он искал какую-то фурнитуру. Я уже не говорю о министрах, губернаторах, мэрах, с теми и в метро можно увидеться, вон с сенатором Владимиром Ивановичем Пантюховым, так с тем в троллейбусе пересекаюсь. Другого сенатора, Игоря Александровича Марзалюка, на трассе раза три летом голосующего подбирал и подвозил к его археологическому раскопу. Поразительно, но ни одного белорусского депутата, ни одного сенатора в списках «Форбс» не значится. И главное — все эти государственные чины ходят в нерабочее время без охраны. А Европа на всех углах кричит: диктатура, диктатура!

Я даже в страшном сне не могу представить себе равновеликих представителей российской (и не только российской) власти в подобных обстоятельствах. К примеру, Медведева без охраны на Чертановском рынке или Матвиенко в гастрономе «Пятерочка»! А вы представляете?

Недолго мой герой просидел на законодательных хлебах и подался с мягких кресел обратно в губернаторы. На сей раз повезло Минской области.

У каждого человека в жизни бывают какие-то знаковые, определяющие, что ли, события. Маленький эпизод, а как капля росы, как горный кристалл отражает весь мир, так и эпизод этот фактически символизирует собой целую человеческую жизнь. Искал я такой кристалл и в жизни Бориса Васильевича, долго искал, и однажды Тамара Ивановна, добрейшая и хлебосольнейшая из белорусских хозяек, рассказала мне, как они с Батурой в глубокой молодости на их первой машине взялись отвезти беременную подругу из Волковыска в Брест.

Машина была синяя, старая, почти сгнившая, чихала, чадила, но ехала. Машина была горбатым «Москвичом». Молодая и веселая компания тронулась в далекий и сложный по тем временам и дорогам путь. И все бы хорошо, не пройди емкий дождь, дорога поплыла, а по дороге поплыла и машина, а впереди затяжной подъем. И вот молодая чета впряглась в свое чудо советского автопрома. За рулем — впервые в жизни — беременная подруга, у которой вот-вот схватки начнутся, Тамара Ивановна сбоку толкает и подружку подбадривает, а Борис Васильевич сзади. И казалось, вот и дотолкали, вот она вершина, а «Москвичонок», словно вьюн в грязи, вертанулся и сполз к подножью холма. И так семь раз. Жена выбилась из сил, беременная плачет, а Батура один, злой и грязный, взволок этот чертов «Москвич» на проклятый бугор. Короче, довезли они роженицу, оставшуюся дорогу потешались друг над другом.

Вот так и жизнь моего героя — толкать и толкать к вершине непомерный груз новой жизни.

Перевели Бориса Васильевича из Могилева, вскорости сменился и мэр города Виктор Иванович Шориков, но ни область, ни города не просели, не запаршивели. На смену пришли рачительные и надежные преемники Петр Михайлович Рудник и Владимир Михайлович Цумарев.

Главное — решиться

Когда холодный ветер выстудит небеса и румяное от мороза солнце заскребет по заиндевелому стеклу подслеповатого оконца, за печью завозится мышь, а неугомонный сверчок на какое-то время прервет свою монотонную песню; когда глуповатый котенок в погоне за какой-то, только ему ведомой, тенью, опрометью пробежит по небольшой лужице натаявшего снега у недавно принесенных из дровника крупных березовых поленьев и, потрясывая лапками, нырнет на твой низкий топчан, только тогда, отложив в сторону отяжелевшую книжку, ты проснешься и поймешь, что уже вечер и пора начинать писать свои истории.

А может, за окнами будет другая погода и не будет ни котенка, ни печки, а лишь белесый экран компьютера, лампадка напротив, внимательные и добрые глаза Христа и тишина городского кабинета.

А может, легкий ветер будет хлопать синим тентом над белым балконом, висящим над ласковым морем, и где-то далеко будут галдеть чайки, указывая рыбакам косяки мелкой и вкусной рыбешки.

А может, по подоконнику будет барабанить надоедливый дождь, и голые корявые ветви огромного столетнего дуба будут пытаться продрать низкие серые облака и выпустить на истосковавшуюся землю солнечный свет.

А может, это будет затерявшийся на краю белорусской земли хутор, и перед твоим окном будут мирно бродить ручные косули в ожидании хрустящих городских баранков.

А может... А может быть очень по-разному, но я должен, даже обязан написать эти мемуарики. Я люблю мою Могилевщину, мою Беларусь — последнюю незамутненную криницу Бога, а главное, мне есть кому писать эту книгу. Как-то само собой навернулись неожиданные стихи:

Я знаю, Могилеву сотни лет.
И пусть притихнут грамотеи.
Я право Божие имею, презрев,
Не слушать их ученый бред.

Ты сквозь века веков, как исполин,
Как духа вольная твердыня,
Несешь прославленное имя,
И я пою его, твой верный сын.

На грани двух враждующих миров
Ты держишь арки небосвода
И дух единого народа
Хранишь в себе, мой вечный Могилев!

Седому Могилеву сотни лет,
О том нам Днепр в веках глаголет.
И Матерь Божья сына молит:
«Храни, храни его от новых бед!»

Апрель 2000 – август 2013 гг.

Содержание